

70-летию Великой Победы посвящается

А.В. ИВАНОВ
Дети войны

Нижний Новгород
2009 - 2015

Об авторе

Аркадий Васильевич Иванов

Родился 8 октября 1928 г. в г. Златоусте Челябинской области. В 1943-м году поступил в Челябинский строительный техникум на отделение «Электрооборудование промышленных предприятий» (ЭОПП). На 2-м курсе учился одновременно в 10-м классе вечерней школы.

В 1945 году окончил школу с золотой медалью и поступил в КуАИ (Куйбышевский авиационный институт (ныне СГАУ – Самарский аэрокосмический университет им. С.П. Королёва) на самолётостроительный факультет.

В 1951 г. окончил институт, работал конструктором на куйбышевском (ныне самарском) авиазаводе № 18 (сейчас завод «Авиакор»).

В декабре 1951 призван в кадры ВВС СА. Служил в военных представительствах на самолётостроительных заводах в городах Горьком (Нижний Новгород), Самаре, а также в ЧССР. Уволен в запас по возрасту в 1979 г. в звании подполковника.

С 1979-го по 1989-й годы работал в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) ведущим конструктором, начальником отдела, зам. начальника ЦКБ по лётным испытаниям экранопланов. С 1989-го по 1997годы трудился в различных организациях, в т.ч. в НПП АэроРИК, который создавал самолёт «Динго» с шасси на воздушной подушке. Работы по этому перспективному самолёту были прекращены в 1995 году в связи с отсутствием финансирования. С 1997 года – неработающий пенсионер.

В 2006 году, к 90-летию со дня рождения выдающегося советского конструктора Р.Е. Алексеева, создавшего лучшие в мире суда на подводных крыльях и первые в мире крупноразмерные экранопланы, издательство «Кварц» в Н. Новгороде выпустило его книгу «Он опередил время».

К 95-летию Р.Е. Алексеева вышло второе, дополненное и исправленное, издание этой книги вместе с воспоминаниями лётчика-испытателя В.Ф. Логинова под общим названием «Корабелы в пятом океане». Документальная повесть о том, как А. В. Иванов смог получить золотую медаль, совмещая обучение в техникуме и в школе, опубликована в альманахе «Российский литератор» № 8(16), 2015г.

Документальная повесть о том, в какой мере автора воспоминаний коснулись события 1968 года в Чехословакии, опубликована в «Российском литераторе» № 6(14) и в ряде других изданий. Есть его публикации в нескольких газетах, местных и центральных на различные общественно важные темы.

В 2012 году он принят в РСПЛ (Российский союз профессиональных литераторов).

Предисловие

Поколение людей, которым к концу войны исполнилось не более 16-17 лет, в том числе и родившихся в период войны, называют «дети войны». Естественно, в этом диапазоне возрастов война переживалась по-разному. И воспоминания тех, кто пережил войну 4-х - 5-летними будут резко отличаться от воспоминаний переживших ее в возрасте 14-ти лет. Чёткая грань пролегает между воспоминаниями тех, кто оказался на временно оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях, кто жил в прифронтовой полосе и кто жил в глубоком тылу. И даже у живших практически в одинаковых условиях воспоминания могут существенно отличаться в зависимости от рода занятий членов семьи и степени обеспеченности продуктами питания. А в войну это было главным! Ещё одно обстоятельство, которое было порой определяющим при решении вопроса о качестве жизни в те времена, где был отец: дома или на фронте. Жившие «под немцем» и в прифронтовой полосе прочувствовали на себе, что такое бомбёжки и обстрел из разных видов оружия, что такое спастись из горящего дома в лютый мороз и не иметь никаких источников продуктов питания. Но и тем, кто жил в глубоком тылу, вдали от обстрелов, бомбёжек и пожарищ жилось ох как нелегко.

Правда, два общих чувства объединяют эти воспоминания: чувство голода и ожидание Победы. В Победу верили свято, самозабвенно. Так мы были воспитаны, несмотря на все трудности на фронте и в тылу. Но разговор об этом, разговор о патриотическом воспитании населения, в частности, молодёжи, о едином чувстве, сплывавшем во время войны практически всех граждан великой страны – отдельный большой разговор.

А пока о другом, быть может, более «низменном», но физически постоянно ощущаемом: о чувстве голода. Есть (практически всем) хотелось постоянно.

Даже почти сразу после скудной еды, которая приходилась на твою долю дважды, а то и один раз в день. А порой, и не каждый день. И тоже по-разному. Ведь «продовольственная корзина» разных семей и возможности её наполнения были столь различны!

Но не хлебом единым... Вот об этом мне и хотелось бы поведать. Естественно, с позиции своего места пребывания в войну, с позиции уральского подростка, отрока 13 - 16 лет.

Благодарной памяти бабушек моих, простых русских женщин, трудом живших и жизни учивших, Антонины Николаевны Яковлевой и Анны Кузьминичны Ивановой («Кузьмовны») с глубоким почтением и любовью воспоминания свои посвящает автор

Война в глубоком тылу

В городе

Для меня лично война началась, на тринадцатом году моей жизни. В 1941-м году я закончил 5-й класс. Семья наша жила в глубоком тылу, в г. Челябинске. А от г.Челябинска до г.Москвы, как известно, две тысячи километров по «чугунке». А до фронта, особенно, в первые дни войны, и того больше. Поэтому за всю войну, точнее, в 1941 - 1942 годах, мы знали только две или три воздушных тревоги, и то лишь учебных, т.к. Урал был вне зоны досягаемости вражеских самолётов. Отец и мать мои работали в Управлении Южно-Уральской железной дороги (Ю - Ур. ж.д.). Отец – диспетчером службы движения, мать – диспетчером службы пути. Оба имели бронь, т.е. освобождались от призыва в действующую армию как работники отрасли, важной для обороны и обеспечения военных действий. Несмотря на это, отец мой, Василий Григорьевич Иванов, в первый же день войны, 22 июня 1941 года, подал два заявления: одно – с просьбой принять его в ряды ВКП(б) – коммунистов тогда направляли на самые трудные участки и первыми брали на фронт, второе – взять добровольцем в армию (потенциально в те времена это почти всегда означало: на фронт). Кандидатом в члены ВКП(б) его приняли, а на фронт пока не взяли по указанной выше причине. У меня были ещё родная шестилетняя сестра и девятилетний сводный брат – сын нашей новой мамы. Отец женился во второй раз в 1937 году после смерти нашей родной матери. Брат и сестра ходили в детсад, я – в школу.

Уверенность в том, что война очень скоро и победоносно закончится, причем «на вражьей земле», жила не только в среде плохо информированных обывателей. Так все граждане страны, включая самых маленьких, понимали сложившуюся ситуацию, благодаря активной деятельности органов пропаганды в СССР, убедившей население в том, что мы обязательно и скоро победим. И простые граждане, и самые высокие партийные деятели – никто не сомневался в победоносном, а главное, быстром окончании войны. Только этим, с моей точки зрения, можно объяснить тот факт, что в первые дни, буквально на второй или третий день войны, на фасаде кинотеатра им. МЮД была вывешена нарисованная на холсте карта западной границы Советского Союза от Чёрного моря и до Баренцева. Для челябинцев, родившихся позже 1943 года, поясню: двухэтажный кинотеатр имени МЮД располагался на углу улиц Спартака – ныне проспект им. Ленина и Кирова. Он был снесён в 1948-м году при расширении ул. Спартака пленными немцами вместе с рядом деревянных частных домов между улицами Кирова и Цвиллинга, на огородах которых незадолго до войны был построен большой семиэтажный дом с гастрономом. Карта была метров пяти или шести длиной. И вывешена она была для того, чтобы показать победоносное продвижение Красной Армии «по вражьей земле», на которой мы должны были, как пелось в песне, врага разгромить грозной силой, могучим ударом. Карта эта

провисела на МЮДе (как мы, пацаны, называли этот кинотеатр до войны, т. к. был он имени «международного юношеского дня») недели две. Прошли первые дни войны. По радио шли сообщения ТАСС о захвате врагом различных территорий Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики, которые стали советскими территориями всего за два года до начала войны, в сентябре 1939 г. Только много лет спустя, в частности, исходя из документальной повести К. Симонова «Разные годы войны», стало ясно: наступление немцев в первые недели войны было столь стремительным, что в официальных сводках «От советского информбюро» о сдаче западных территорий фашистам население, во избежание паники, информировалось с очень большим запозданием. Цель совершенно объяснимая и понятная для официальных властей.

Карта западной границы, повисев недели две без каких-либо признаков наступления победоносной Красной Армии, была потихоньку снята с фасада кинотеатра «МЮД».

С июля 1941 года отпуск хлеба и всех продуктов в магазинах стал нормированным. Вначале на каждую семью выдали «заборные» книжки, по которым стали отпускать по два килограмма хлеба на семью. Но семьи были разными по количеству едоков, а до войны многодетные семьи были не редки, поэтому многим стало не хватать этих двух килограммов. Немного позже было введено нормирование по категориям населения, и стали выдаваться карточки на хлеб и продукты, соответствующие этим категориям. Категории были такие: дети, рабочие трех категорий в зависимости от напряженности работы. Так, работники горячих цехов получали наибольшее количество хлеба в день – один килограмм. Насколько помню, и мясо им выдавалось обязательно. Попробуйте поработать у мартена или на прессах, обжимающих раскаленные болванки, питаясь только хлебом и картошкой! А были еще рабочие карточки двух категорий, по семьсот и пятьсот граммов в день. На детскую карточку приходилось четыреста грамм хлеба. Еще существовала категория «иждивенцы» (т.е. те, кто по каким-либо причинам не мог работать – старики, инвалиды). Иждивенцам полагалось всего триста грамм хлеба в сутки. Руководящий состав предприятий получал кроме этого продукты по «литеру Б» и «сухой паёк». Так что продуктивное обеспечение руководства было более высоким, чем остального населения. И «отоваривание» карточек, т. е. отпуск продуктов по ним для руководителей, проводился в специальных магазинах. При этом обязательное «отоваривание» гарантировалось в общих магазинах только по хлебным карточкам. Не лишне сказать о качестве этого хлеба. Чаще всего он был из муки, сделанной из зерна не самого высокого сорта с примесью муки из другого зерна других злаков, например, кукурузы. В тесто обязательно добавлялся мятый картофель (нередко на разрезе буханки хлеба были видны плохо размятые куски картошки). Хлеб, как правило, был сырой, тяжеловесный и сто граммов тогдашнего хлеба по объёму заметно уступили бы хлебу современному. Что же касается продуктов (сахар или кондитерские изделия, крупы или макаронные изделия, мясо или мясопродукты, масло или жиры, его заменяющие), ими обеспечивали не всегда или частично. Нередко тот или иной вид товара, предусмотренный для выдачи по карточкам, не поступал в торговую сеть или завозился в магазины в количествах, недостаточных для удовлетворения всех, кому это было положено. Особенно по иждивенческим карточкам. Помню, как

старушки (в том числе и моя бабушка, мать моей второй матери, которая проживала неподалёку со своей второй дочерью, сестрой нашей матери) с утра до вечера, невзирая на погоду, стояли под дверями магазинов в ожидании: не привезут ли чего. Ведь нужно было успеть «ухватить» то, что привезли, ибо это было не всегда в достаточном количестве, чтобы хватило всем. Вместо сахара часто давали карамельки «подушечки», в качестве жиров – маргогуселин (гидрогенизированные растительные жиры) или импортное (поставляемое по ленд-лизу) сало «Лярд», непонятого происхождения. Вместо мяса частенько давали консервы, при этом из расчёта четыреста граммов консервов за один килограмм, указанный в карточке. Карточки на детей, посещающих детские сады и ясли, сдавались в это детское учреждение для обеспечения детей питанием в пределах установленных норм. Когда отец был дома, мы получали тысячу восемьсот граммов хлеба в день на троих (по семьсот граммов отцу и матери – рабочая карточка первой категории, и 400 г мне – по детской карточке). Но эту гарантированную норму хлеба нужно было ещё выкупить. А это значит, занять очередь и стоять в ней столько, сколько надо, ибо точного времени подвоза хлеба не было. Хуже всего было зимой. Тогда ведь морозы минус тридцать и ниже, особенно у нас, на Урале, не были редкостью, и занятия в школе по этому поводу никто не отменял. Стоишь, коченеешь, потом отбежишь, попинаешь с ребятами какую-нибудь банку или деревяшку и снова в «хвост». Помещение магазина было маленьким, и все стоящие в очереди разместиться в нём не могли. Да и до привоза хлеба, как правило, покупателей в помещение не пускали: а что там делать? Вот и ждали, стоя вдоль стенки каменного дома, в котором был магазин. Ждали час, другой... Частенько я брал с собой какую-нибудь книгу и читал, стоя в очереди. И вот, заочнев, отойдёшь от очереди, побегаешь с ребятами, возвращаешься, а кто-нибудь начинает возмущаться:

– Куда без очереди?

И тут же кто-нибудь говорит:

– Этот, с книжкой? Стоял...

Следует ещё немного рассказать о том, что (как помнят старики) буханки («кирпичики») в магазинах, входящих в систему снабжения железнодорожников, были весом по 2, 4 кг. Весы в магазинах тогда были рычажные, с круглыми металлическими чашками, размером с большую тарелку. Электронных весов тогда и в помине не было. Соответствие веса гирек, положенных на одну из чашек весов, весу товара, положенного на другую чашку, определялось по совпадению уровня металлических пластинок, связанных с опорами этих чашек. Продавщица ножницами вырезала из предъявленных карточек каждого члена семьи талончики на один или два дня (больше не давали) и аккуратно складывала их в коробку. Ведь в конце дня она должна все эти талончики наклеить на листы бумаги, подсчитать, соответствует ли то, что она наклеила, тому, что она отпустила. Потом она сдавала эти листы с наклеенными талончиками, и там снова всё очень внимательно пересчитывали. За хищения тогда карали сурово, особенно в войну. Отрезая от «кирпичика» кусок хлеба, приблизительно равный по весу сумме весов, указанных на вырезанных талончиках, продавщица клала его на другую чашку. Но отрезать кусок необходимого веса ей удавалось не всегда. Тогда приходилось либо отрезать от этого куска лишнее, либо добавлять к нему дополнительный кусочек, довесок (иногда не один). Десятки глаз

напряжённо следили: не было бы недовеса. Ну, а для неё совершенно недопустим перевес: количество привезённого и проданного хлеба должны точно соответствовать друг другу. Можно себе представить, какое напряжение царило в магазине при отпуске любого продукта: продавец – не автомат, а ошибаться она не имела права ни в одну сторону. И сколько пар глаз напряжённо следили за «носиками» баланса рычажных весов!

Были ещё и промтоварные карточки, на которых имелись талоны и купоны в количестве, соответствующему названным выше категориям потребителей. Если вам выделялся, скажем, диагоналевый хлопчатобумажный отрез, носки или галоши, то за них из карточки вырезалось определённое количество талонов. Такие товары, как соль, мыло, спички выдавались по купонам, отпечатанным на этой же карточке. В связи с тем, что ордера или талоны на получение промтоваров выдавались довольно редко, многие продавали свои промтоварные карточки целиком или частично – по потребностям продавца. Я помню, как позже, когда я был студентом, мы выполняли какие-то работы (счистить снег с крыши, привезти землю для газонов и посадить на них деревья или кустарники и т.п.) за ордера на промтовары. И для того, чтобы выкупить полагающееся по ордеру, покупали промтоварные талоны на базаре (своих иногда не хватало), а те, кому редко выпадала возможность выкупить что-либо по промтоварной карточке, имели от этого небольшой доход.

В школе

Расскажу о своей «сороковушке». Так мы называли свою школу № 40, которая в 1937 году вселилась в новое четырёхэтажное здание на улице Воровского по типовому проекту тех времён: просторные классы с высокими потолками и широкими окнами. В ней я учился во втором классе. В третьем и четвертых классах, в связи с переездами семьи, учился в других школах. В «сороковушку» вновь вернулся в 1940-м, уже в пятом классе. До 1937 года она размещалась в двухэтажном здании по ул. Полевой (ныне Свердловский проспект). В старое здание сороковой вселилась начальная школа № 5. Но в самом начале войны было принято решение отдать новое четырёхэтажное здание сороковой под госпиталь, а школы и сороковую, и пятую вернуть в те здания, которые они занимали ранее. И уже в июле - августе 1941 года вновь образованный госпиталь принял первых раненых. Недостаток помещений для занятий в новой старой школе заставил ввести вторую и третью смену. Мы-то, ученики, быстро приспособились к новому времени. А вот учителям пришлось куда труднее. Ведь одному и тому же учителю приходилось порой вести уроки в разные смены.

Помню, как мы приходили в школу, чтобы напилить и наколоть дров для ее отопления. Меня поражает до сих пор, как санэпидслужба страны при скученности людей в переуплотнённых коммуналках и общежитиях, смогла не допустить ни одного массового заболевания, например, тифа, как это было в гражданскую войну. Борьба со вшами (слова «педикулёз» мы не знали, ибо вши, как их не назови, вшами и остаются) проводилась способом «санобработки» – прожариванием всей одежды человека в дезинфекционной камере в то время, как он в моечном отделении мылся горячей водой с мылом. Перед входом в

моечное отделение необходимо было снять одежду повесить на крюк в специальной камере, а затем идти в моечную. Через сорок минут или час, дочиста отмывшийся человек выходил из моечного отделения и забирал в дезокамере своё ещё горячее белье. Бывали случаи, когда кожаные ботинки и ремни съёживались от жара камеры.

И все-таки одной напасти из-за тесноты и плохой санитарии избежать не удалось. Речь идет о чесотке. Не обошла она и меня. Помню эти бугорки на руках, этот непрерывный зуд. Постоянная борьба с собой: понимаешь, что чесаться нельзя и чувствуешь, что очень хочется!

Мы много раз слышали в то время и читали о том, что не следует обмениваться рукопожатиями, что нужно быть осторожными. Но как сказала гораздо позже Галка Галкина (кто помнит журнал «Юность»?): «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Что ж, дообменивались...

Тогда в стране принимали все возможные меры для излечения тех, кто не избежал этой напасти. И те, кого постигла эта беда, не были оставлены без внимания. Я тоже получил назначение на лечение. Оно заключалось в том, что рано утром, на пункте санобработки, проходил все положенные процедуры – мытьё и прожарку одежды, затем намазывался серной мазью (до сих пор помню её противный запах) от шеи до пят, одевался и шёл в школу. И ведь никто (в том числе и девчонки) ни разу не сказал мне о том запахе, что шёл от меня после этих серных натираний (через каждые три дня, насколько помню), не скривил брезгливо физиономию при моём приближении, не хмыкнул в мой адрес. Ведь все мы жили в этом времени и все понимали его вынужденные (не от нас зависящие) трудности.

Слава Богу, через положенные по курсу лечения три недели чесотка прошла. Но память ... Государство по возможности старалось хоть немного подпитать растущее поколение тех, на чью долю выпадет после войны поднимать страну, обеспечивать её рост. Мы вносили по пятьдесят копеек в день, чтобы после второго урока получить белую (условно говоря) булочку, граммов семидесяти, и стакан сладкого (точнее, подслащённого) не очень крепкого чая. Это была скромная, но поддержка.

И ещё одна деталь о бытовом неустройстве. По переписи 1939 года в г. Челябинске было 273000 жителей. А во время войны, по разным сведениям, за счёт эвакуированных работников предприятий и неорганизованного населения, его численность в городе приближалась к миллиону. Естественно, разместить такую массу приезжих можно было только за счёт существенного «уплотнения» – подселения вынужденных приезжих в одну, а то и в две комнаты в квартирах, в которых, по сведениям домоуправляющих, обнаруживалась «избыточная» жилплощадь. Так, в третью комнату в нашей квартире была подселена семья – мать с двумя детьми. А в некоторых школах устраивались общежития для эвакуированных. Для этого вдоль каждой классной комнаты посередине протягивались две верёвки на расстоянии шестидесяти-семидесяти см друг от друга, а поперёк их ещё по две. На верёвки навешивались простыни почти достигающие пола. Таким образом, в классной комнате получалось шесть маленьких отсеков, по три с каждой стороны прохода, образованного простынями на продольных верёвках. Так одна классная комната превращалась в шесть закутков (или каморок, как хотите) в каждой из которых поселяли по

семье. Понятно, что школьников, вытесненных из школ занятых под общежития, нужно было где-то учить. Их переводили в другие школы. И поэтому в войну были школы, занимавшиеся не только в две, но и в три смены.

А нас, школьников, воспитывали тогда как патриотов, готовых оказать посильную помощь фронту хотя бы выполнением некоторых работ, чтобы разгрузить немного взрослых от их изнурительного труда по двенадцать часов. Старшие помнят, что до войны вышла книга А. Гайдара «Тимур и его команда», по которой был снят фильм. Начавшееся с него тимуровское движение – оказание помощи семьям фронтовиков – в течение многих лет было массовым среди учащихся страны. И в городе, и в деревне. Дополнительная трудность для работающих, не имеющих полноценного отдыха после двенадцатичасовых смен – потеря времени на дорогу из-за недостаточной обеспеченности транспортом. Помню, как в г. Челябинске появилась первая линия троллейбуса, которая связала парк культуры с ЧТЗ (Челябинским тракторным заводом). На ЧТЗ, кроме челябинского, разместили ещё эвакуированные харьковский и ленинградский (кировский) тракторные заводы. И на воротах ЧТЗ им. Сталина появилась эмблема «К», что означало «Кировец». За выпуск большого количества тяжёлых танков КВ, самоходных орудий ИС и ставших впоследствии знаменитыми танков Т-34 г. Челябинск получил неофициальное название «Танкоград». Мы, ученики, постоянно были в курсе того, что творилось на фронтах: радио у всех было включено постоянно, и мы периодически слушали сводки информбюро, а также репортажи фронтовых корреспондентов. Помню, как наша классная руководительница, учительница русского языка Антонина Ивановна Маврина прочитала нам напечатанный в «Правде» репортаж Лидина «Таня». Мы, затаив дыхание, слушали рассказ о мужественной девушке-партизанке, и с чувством жалости к жертве и ненависти к палачам рассматривали помещённую фотографию замёрзшего трупа девушки с отрезанной грудью. Позже выяснилось имя этой девушки – это была Зоя Космодемьянская. Ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В школах устраивались встречи с бойцами Красной Армии, прошедшими излечение в тыловом госпитале и вновь отправлявшимися на фронт. Я помню, как мы обсуждали вопрос об образовании тройственного антигитлеровского союза, в который входили СССР, Великобритания и США. Из газет, информации, передаваемой по радио, журнала «Крокодил» мы знали имена глав союзных государств. Точно так же как мы знали, кто такие предатели и пособники Гитлера Квислинг, Петэн (а с ним и что такое Виши), Антонеску, Хорти, какую антисоветчину несёт «Свенска Дагбладет» и другие недружественные зарубежные издания. Хорошо помню, как был в первые дни войны растиражирован и всюду наклеен плакат-листовка Тоидзе «Родина – мать зовет!». А осовремененный, огромный (3х4 м) плакат Моора «Ты чем помог фронту?» (переделанный из его плаката времён гражданской войны («Ты записался добровольцем?») смотрел на нас с многих стен на протяжении всей войны. Вся культура работала на войну. Продолжали работать театры и кино. Мы, мальчишки, суровели, смотря фильм «Она сражалась за Родину», и заходились от восторга, глядя на героев фильма «Секретарь райкома». Если раньше главным киногероем нашим был Чапаев, то теперь героями становились те, кто нёс тяжёлую солдатскую службу на фронте. Внимательно (часто с

восторгом) смотрели боевые киноборники. А как мы подхватывали песни, такие как «Огонёк», «Вечер на рейде», «Моя любимая» и многие другие времён войны. В то время дети много и с удовольствием пели. В челябинском драмтеатре в войну давал спектакли эвакуированный из Москвы Малый театр. Не забуду, как я смотрел «Партизаны в степях Украины» Софронова. В этом спектакле мне особенно запомнился знаменитый актёр И. Ильинский, которого я знал до этого как комика. А тут он партизан с автоматом на плече. Смотрел и спектакль «Без вины виноватые» Островского с участием знаменитых тогда А. Тарасовой и В. Рыжовой (других не запомнил). Даже у меня, мальчишки, выступили слёзы в сцене Кручининой с нянькой. А потом я смотрел в театре оперетты «Сильву» и «Девичий переполох». Топили тогда плохо (топливо приходилось экономить), и театры не были исключением. Время от времени, по ходу действия, я отвлекался, глядя с сожалением на артисток в глубоком декольте на сцене. В кинотеатрах, кроме отечественных, демонстрировались фильмы союзников. Например, американский «Северная звезда» со знаменитой тогда Диной Дурбин. Над этим фильмом мои родители смеялись: там был показан наш советский колхоз в американском представлении. Одни только асфальтированные дороги в деревнях, колёса добротных телег на резиновом ходу, крутобокие упитанные битюги и не по-нашему нарядные домики чего стоили. Хорошо запомнился фильм «Сестра его дворецкого», тоже с участием Дины Дурбин. Хохотали над героями английской кинокомедии «Тётка Чарлея», а также «Джордж из Динки-джаза», оба на военные темы. Помню, как осенью 1944 года привезли в г. Челябинск цветной английский фильм «Багдадский вор». Фильм-сказка, светлый и яркий. Жизнь, далёкая от нас, и не похожая на нашу серую, тяжёлую, военную. Человек в зале кинотеатра переносился душой в иной мир. Почти два часа жил зритель в этом призрачном и лёгком мире и выходил на улицу после сеанса отдохнувшим, просветлённым. Фильм этот демонстрировался в кинотеатре им. Пушкина. Челябинцы знают, что кинотеатр этот двухзальный. Так вот, учитывая большой зрительский спрос, администрация кинотеатра устроила демонстрацию фильма с шести часов утра и до двух часов ночи. Сеансы в верхнем и нижнем залах кинотеатра начинались с интервалом в один час, поэтому каждая часть после демонстрации и перемотки переносилась из зала в зал. Таким образом, при демонстрации через каждый час, за сутки в кинотеатре устраивалось двадцать сеансов. Тем не менее очередь в кассы была длиннющей. Правда, большинство билетов скупали перекупщики, которые продавали их потом втридорога. И всё же народ шёл. Некоторые даже не по одному разу. Часть зрителей старалась попасть на сеанс до начала смены на заводе, другая после смены. Наверное, не осталось в городе ни одного человека от пятнадцати лет и старше, кто не посмотрел бы этот фильм.

Ну и самодеятельность работала. В различных формах. Как и многие, я «баловался» чем-то вроде стихосложения – пытался писать что-то вроде стихов. Так вот, засел шестиклассник за стол и написал песню (запомнилось!):

*Немцы в сводках сообщают,
Мы, де, стали фронт равнять!
А на деле – удирают,
Только пятки и видать.*

Мне это показалось слабоватым, и я заменил на: «Пятки с дырками

видать»

И – припев:

Винтовка метко пулей бьёт,

Боец врагов разит.

И кто не понял, тот поймёт,

Что Гитлер – паразит!

Два следующих куплета я не запомнил. А вот мелодию до сих пор помню (я хаживал до этого в музыкальный кружок и с нотами был знаком). Изобразил я всё это на бумаге поаккуратнее (от руки, разумеется), отнёс в редакцию газеты «Челябинский рабочий» и стал ждать. И дождался-таки. Ответ, несмотря на тяжёлую обстановку и множество куда более серьёзных вопросов, стоящих перед редакцией в столь непростое время, мне всё же прислали. Похвалили, посоветовали лучше учиться и пожелали успехов.

Появилось название «трудармия». В неё так же, как и в армию защитников страны набирали тех, кто ранее не работал, находясь на иждивении других членов семьи (скажем, жена на иждивении мужа или не очень старые родители на иждивении детей). Был проведён персональный поимённый учёт всего населения трудоспособного возраста. Всех обязали пройти медицинскую комиссию. И если человек по состоянию здоровья признавался пригодным для работы на каком-либо производстве или предприятии, его направляли в отдел кадров в соответствии с запросами предприятий. И многие из тех, кто до этого уже успел подзабыть, что такое «государственная служба», приступили к работе с двенадцатичасовыми сменами и одним выходным в неделю (воскресенье). Было несколько таких лиц и в нашем доме. Помню их неудовольствие: от приятного времяпровождения пришлось переходить на работу, да порой довольно тяжёлую и грязную. Освобождение от работы давалось только по медицинским показаниям.

Но вот одно из начинаний тогдашних властей (наверное, на высшем уровне) по усилению рядов рабочего класса до сих пор вызывает у меня глубокое возмущение.

Дело в том, что для еще большего пополнения трудовой массы в тылу, в частности, на Урале (который недаром называли «опорный край державы»), в зиму 1941-1942 годов, в городе появились узбеки, таджики, туркмены. Они были совершенно не приспособлены к суровому уральскому климату, не имели ни соответствующей одежды, ни каких-то других источников питания кроме общественного, организованного из продуктов, причитающихся им в соответствии с нормами. И пища эта – картофель, капустные листья, жидкий суп, с отдаленными признаками жиров и мяса, была им и непривычна, и скудна. Ослабленные плохим питанием и болезнями, простудными и желудочными, они постоянно мерзли (порой замерзали) на улице и в плохо протапливаемых бараках и в своих халатах, которые предназначались лишь для того, чтобы защищать их от зноя в их солнечных республиках. А уральским морозам в тридцать-сорок градусов они противостоят не могли. Ведь спецодежду (ватники, обувь), что им выдавали, они выменивали на продукты питания. Их ситуация усугублялась тем, что они почти не умели говорить по-русски, не знали и не понимали местных обычаев и правил. Ну, а воспитательную работу среди них проводили (если проводили) люди не самой высокой культуры. Помню, как я, мальчишка, с

жалостью смотрел на этих несчастных, когда они с голодными глазами и измождёнными лицами появлялись на рынках в поисках чего-либо съестного. Дополнительной бедой их было недружелюбное, порой враждебное отношение к ним местного населения. Почему-то считалось, что они лентяи (заставь любого делать непривычную, порой непосильную работу под постоянные окрики и насмешки в недружелюбном окружении массы населения, говорящего на непонятном языке). Кто-то пустил слух о том, что жены этих рабочих, якобы, сказали им, чтобы без денег не приезжали. Поэтому они продают казенную спецодежду и копят деньги под матрацами. А еще кому-то из местных понравилось слово «бабай», услышанное от приезжих. Массовой кличкой и обращением к приезжим стало это слово. Но большинство из тех, к кому так обращались, выходили из себя и лезли в драку, считая, что их просто дразнят. Ведь местные не знали, что в большинстве тюркских языков слово «бабай» означает «старик», «дедушка». Так кому же из молодых понравится такое обращение? Но, видимо, до кого-то «на большом верху» всё же дошло, что привлечение рабочих с юга для работы на Урале – ошибка. Уже к лету 1942-го года южане из г. Челябинска исчезли. Думаю только, что рассказы побывавших в «трудармии» на Урале не прибавили на их родине уважения к неприветливым русским «братьям».

Продуктовый вопрос и барахолка

Наша семья, как и многие другие, выращивала летом картофель. Не очень большой урожай растягивался почти до мая следующего года. Из этого картофеля с полученными по карточкам продуктами варился суп (куда более жидкий, чем до войны) и готовилось второе. А на базаре мы ничего не покупали: дорого. На рабочую карточку первой категории полагалось семьсот граммов хлеба в день, второй категории – пятьсот. Картофель на базаре стоил от пятидесяти до восьмидесяти рублей за килограмм. Что касается мяса – цены не знаю: мы его во время войны на базаре не покупали. Насколько помню, оклады моих родителей были по семьсот – семьсот пятьдесят рублей. На базаре всё стоило очень дорого. Например, кирпичик хлеба стоил двести пятьдесят - триста рублей. Конечно же, заработной платы на покупку продуктов или каких-то нужных вещей (помимо карточек) не хватало. Кстати, скажу попутно, все учебники в войну я покупал только на развалах на базаре. Обучаясь в техникуме, я нередко вёл конспекты на каких-то канцелярских журналах, которые иногда приносил с работы отец. (На фронт он был взят в конце октября 1941 года, воевать ему довелось в синявинских болотах, но в июне 1943 года, после третьего запроса управления Южно-Уральской железной дороги в штаб фронта, он был демобилизован и возвращён для работы диспетчером в службе движения дороги.) Иногда для изготовления тетрадей для конспектов я покупал рулон незасвеченной синьки на базаре. Город стал быстро наполняться беженцами. И, как следствие, быстро поползли вверх цены на базаре. Конечно же, нашлись глубокомысленные знатоки, которые рост цен объясняли тем, что у эвакуированных (как их в массе называли) много денег, вот они и хватают всё, не торгуясь. Никому не приходило в голову, что люди, в большинстве своем не очень обеспеченные, бежавшие, прихватив лишь самое необходимое, едва ли могли привезти с собой какую-то большую сумму денег. Ходовые товары из

магазинов быстро исчезли. Стихийно возник и постепенно разрастался самодельный промтоварный рынок («барахолка» по-народному), на который выносилось всё. Кроме носильных вещей (одежды, обуви) там могли быть и посуда, и электротовары, и разная металлическая мелочь вплоть до гвоздей. Появились «напёрсточники», так знакомые современным жителям по 90-м годам прошлого века, а также умельцы затягивать петлю, выложенную на фанерке из шурка, почему-то всегда мимо пальца простака, решившего выиграть на этом аттракционе. Появились на базаре самодельные «лотереи» в виде круга, разделённого на несколько (скажем, на шесть) секторов, над которым на оси вращалась стрелка. Участники очередного тура игры ставили на облюбованный сектор деньги. При остановке носика стрелки над этим сектором поставившие на него получали четырёхкратную сумму по сравнению с поставленной. Но секторов-то было 6! И всё же, видя явную несправедливость возмещения вложенных средств, некоторые люди вновь и вновь, надеясь на счастливую «халяву», продолжали ставить деньги, порой до последней копейки! Появились и спекулянты (теперь их называют «предприниматели»), которые наживались на разнице цен на товарах и продуктах. Часть из них имела возможность привозить продукты из деревни или из г. Кустаная (ныне областной центр сопредельного государства Казахстана), благо до него от г. Челябинска было всего триста километров. Там все сельхозпродукты стоили дешевле, чем в г. Челябинске. Все стали бережнее относиться к одежде, у многих появились заплатки, что до войны считалось признаком крайней бедности и в городе встречалось очень редко. Дети моего возраста разделились по роду занятий. Одни, как я, продолжили учёбу в школе. Другие, как мой сосед и друг одноклассник Коля Акимов, пошли работать на заводы. Третьи – в ремесленные училища (РУ) или в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). При обучении в этих учебных заведениях, готовящих кадры рабочего класса, выдавалась форма, предоставлялось место в интернате, было обеспечено трёхразовое питание. Нередко, что именно эти обстоятельства были определяющими при выборе места учёбы. Тем более, что выпускники РУ и школ ФЗО по окончании учёбы распределялись на оборонные заводы. А на них уровень зарплаты и снабжения были сравнительно лучше других. Но те, кто продолжил учёбу в школе, не были гарантированы от того, что ими не пополнят ряды рабочего класса. Страна напрягалась в борьбе со смертельным врагом, нужны были рабочие кадры. И взамен старших, отправленных на фронт по очередному призыву, к станкам и верстакам оборонных заводов становились вчерашние школьники, семи-, восьмиклассники. Потому эпизодически проводились наборы в РУ и школы ФЗО. В эти школы рабочих кадров принимались и девчонки. Набор проводился по разрядам, основанием для отказа могло быть только состояние здоровья, не позволяющее работать на промышленном предприятии.

С другой стороны, с удивлением и благодарностью к организаторам торговли тех времён вспоминаю, что различного рода канцелярские товары, необходимые для черчения (я учился в строительном техникуме), в 1943-1945 годы постоянно мог купить в центральном универмаге г. Челябинска, располагавшемся на углу улиц Кирова и Коммуны. Это бумага, в том числе ватман, сухая (китайская!) тушь, которую потом приходилось растирать с остатками отцовского одеколона (за неимением спирта), доводя консистенцию

раствора до состояния туши пригодной к употреблению. Деревянные линейки, угольники, транспортиры, карандаши тоже были в продаже постоянно.

Живительное тепло

В мороз хочется согреться. Особенно тем, кто ест недосыта. Но в любом случае, тепло нужно всем. А центрального отопления в нашем доме не было и претензий по теплу, кроме себя, предъявлять было некому. Газификация в стране началась только конце 40-х годов. Пользоваться электроприборами и даже включать освещение в квартирах с 17 до 23 часов запрещалось – электроэнергия была нужна оборонным заводам для изготовления вооружения и боеприпасов различного назначения. Поэтому пищу во время войны готовили старым дедовским способом на обычных плитах, отапливаемых дровами или углем. Мы жили в двухэтажном восьмиквартирном доме с печным отоплением. Это были двухэтажные типовые дома постройки конца 30-х начала 40-х годов. У нас они назывались «брусчатыми», т.к. были сложены из деревянных брусьев. В других городах дома такого типа назывались «щитковыми». В нашей трёхкомнатной квартире были печка, отапливавшая три комнаты, и плита на кухне для приготовления пищи. На тонкой чугунной плите, накрывавшей топку, было два отверстия (конфорки), закрытые концентрическими чугунными кольцами и небольшой круглой крышкой посередине. Конфорки были когда-то необходимы для установки на них чугунов различного диаметра (вот для чего были нужны кольца разного диаметра, закрывавшие конфорки). Печь и плита были рассчитаны на использование дров. Но мы приспособились топить их углем. Для этого была выработана определённая методика. Сначала в печь укладывались дрова, разжигались как обычно и, когда они хорошо разгорались, насыпался уголь так, чтобы не погасить пламя. Постепенно первая порция угля разгоралась, а потом ещё подсыпался уголь. Для того, чтобы печь хорошо прогрелась, достаточно было одного ведра угля. Только всегда нужно было быть осторожным, чтобы не ошибиться со временем закрытия трубы: закрыть поздно – всё тепло уйдёт в трубу; закрыть рано – можно угореть.

Пищу готовили, как правило, на плите. Для экономии топлива, если, скажем, было нужно что-то разогреть или чай вскипятить, нередко использовались компактные небольшие печурки, придуманные ещё в гражданскую войну и названные тогда «буржуйками». Изготовленный из листового железа цилиндр диаметром примерно двадцать пять и высотой тридцать-тридцать пять сантиметров, разделённый поперёк решётчатой перегородкой с прорезанными дверками для топлива и золы, устанавливался на конфорку плиты. Топили «буржуйку» мелко расколотыми чурками. Кто-то выводил дымовую трубу от буржуйки в форточку, а кто-то, как мы, ставили буржуйку на конфорку плиты и дым уходил по дымоходам этой плиты в общую домовую трубу.

Самым удивительным, сказал бы я сейчас, было то, что мы не знали перебоев с приобретением топлива. По крайней мере, семьи железнодорожников. И дрова, и уголь мы приобретали в установленном порядке, без канители и задержек, на протяжении всей войны. Никаких ссылок на военные трудности. Снабженцев, не обеспечивавших нормального

обеспечения, могли наказать по строгим законам сурового военного времени вплоть до снятия брони и отправки на фронт.

Жаль, что такая работа не стала примером для последующих поколений. Глядя на то, как сейчас даже в лесных регионах России люди страдают от невозможности приобрести дрова (или от ставших непреодолимыми трудностей, вызванных неповоротливостью местных властей), думаешь: жаль, нет на снабженцев управы времён Великой Отечественной!

Таковы воспоминания городского школьника. А как же деревенские?

Зауральская деревня в войну

Общая ситуация

Осенью 1941 года при формировании уральской добровольческой дивизии моего отца, подавшего заявление в первый день войны, всё же взяли на фронт, несмотря на бронь. Мама осталась с тремя детьми в ожидании четвёртого. С питанием в городе становилось совсем плохо – продукты по карточкам, как я уже отметил, выдавались нерегулярно. А в деревне Зырянка, за двести двадцать километров от г. Челябинска (50 км не доезжая до Кургана) у бабушки была корова. И ещё был большой огород, с которого по осени было собрано много картофеля. К тому же была наквашена капуста, засушены морковь и зелёный лук-перо. Как вдове железнодорожника (дедушка умер в 1940 году) бабушке с началом войны было определено ежедневно по триста граммов печеного хлеба в железнодорожном магазине. Следует сказать, что хлеб, не в пример городскому, был хорошо пропечённым, из ржаной муки без примесей. Больше ничего не полагалось. Вообще на всё время войны и до отмены карточной системы в декабре 1947 года (фактически ещё дольше) деревня забыла, что такое кондитерские изделия в сельских магазинах, даже сахар и простейшие конфеты, а также мучные изделия – макароны, вермишель, да и крупы тоже. А на приусадебных участках (на деревенских огородах) крупяные культуры никто не выращивал. Так что деревня жила буквально на подножном корму: источником всех продуктов питания (кроме молочных продуктов у тех, у кого была корова) были только овощи с огорода. Замечу при этом, что из-за поздних, вплоть до июня, заморозков никто в зауральских деревнях в те времена не сажал ни томатов, ни огурцов. Но вот без хлеба русскому человеку нельзя! Поэтому на каждого жителя деревни, неработающего на железной дороге или ещё в каких-то государственных структурах, выделялось по три килограмма муки грубого помола. На каждого жителя, будь то взрослый или ребёнок. На трудодни в колхозах ничего не давали – всю произведённую продукцию забирало государство для снабжения фронта и рабочего класса в городах (известно, что на фронте перебоев с продовольствием практически не было. Да и в городах продуктами, по крайней мере хлебом, обеспечивали – пусть понемногу, но обязательно.) За каждый отработанный в колхозе трудодень учётчик ставил в тетради учёта трудодней палочку. Это означало, что за эти палочки в тетради (которые в народе прозвали «трудопалочки») колхозник сможет когда-то иметь право на получение некоторого количества продукции колхоза (овощей, зерна и т.п. из того, что производится в колхозе), что называлось «натуроплата», а также на какую-то сумму деньгами. В дальнейшем

оказалось, что надежды на получение прошлого долга были беспочвенными. А после войны продукция колхозов шла на обеспечение восстановления разрушенных войной городов и промышленных предприятий. Считалось, что деревенский житель хорошо обеспечивает себя продукцией с личного подсобного хозяйства. При этом как-то не учитывалось (или просто никто не хотел брать это во внимание), что колхозник в колхозе работает полный рабочий день (в деревне работали тогда от зари до зари), а на огороде может работать только за счёт сна. У тех, кто держал корову, было еще больше забот. Корову нужно было утром (на заре) немного покормить, напоить, подоить, выгнать в стадо, днём подоить (пастух пригонял коров для дойки), вечером встретить из стада, напоить, подоить и снова покормить. Да ещё время от времени чистить в стойке (так на Урале называют хлев для коровы). И так всё лето, без выходных и праздников (не говоря уж об отпуске – этого слова в деревне не знали). А на зиму корове нужно было заготовить сено. На тогдашнюю уральскую зиму для одной коровы нужно было припасти девять санных возов по сорок пудов (а в пуде, как известно, шестнадцать килограммов). Что такое «комбикорма» на деревне в те времена слухом не слыхивали. В пищу корове шли очистки, корнеплоды, остатки пищи. Но для того, чтобы заготовить сено, нужно было очень изловчиться. Дело в том, что луговые покосы все принадлежали колхозам. И косить на них колхозникам для себя можно было только после того, как колхоз заготовит сено для колхозного скота. Бывало, трава уже отцвела, перестаивает, а косить частным лицам не разрешают: колхоз ещё не провёл заготовки для собственных нужд. Но рабочих рук в колхозе немного – мужчины все на фронте, а здесь и вспашка, и посев, и культивация, и прополка овощных и других культур – в общем, руки до всего своевременно не доходили. А сено нужно! И на колхозных лугах, хотя трава уже и перестаивается, косить нельзя: тюрьма за воровство государственной собственности обеспечена! Вот и старались люди использовать любую возможность для заготовки сена. Косили осоку на болотах, получая порезы от соприкосновения с ней, порой глубокие. Косили лесную траву на опушках леса с риском нарваться на лесного объездчика, который по праву должности считал траву на опушках своей, благо у него тоже была корова. И на откосах железнодорожного полотна (в полосе отчуждения) косить тоже было нельзя: эту траву косил путевой обходчик. Но это были ещё не все трудности. Ведь после того, как сено скосили, поворошили, подсушили, сгребли, его нужно было перевезти домой. На чём? Никакой тягловой силы, кроме собственных ног и рук, на селе не было. Поэтому хорошо, если у кого была тележка или хотя бы тачка. А если нет, увязывай охапку сена, такую, какую поднять можешь, взваливай на загорбок и тащи. Скирдуй на огороде. А это тоже искусство! Нужно поставить скирду так, чтобы ни ветром не разнесло, ни дождь не промочил, ни снег не попал между слоями: растает – протечёт вода вовнутрь, смочит сено и загниёт оно или заплесневеет. А такое сено корова есть не будет.

Вот описываю всё это и жду вопроса: а кто же всё это делал, если женщины были на работе в поле, а мужчины на фронте? Как кто?

Мужички – опора Отечества

Я помню, как поразило меня изменение состава населения в деревне, где

жила моя бабушка Анна Кузьминична (по улочному – Кузьмовна). Кстати, зауральская деревня Зырянка, расположенная в пятидесяти километрах не доезжая Кургана (если ехать из г. Челябинска), как и весь Юргамышский и ряд других районов, до 17 февраля 1943 года входили в состав Челябинской области. В 1942 году правительство страны решило, что руководству Челябинской области целесообразнее сосредоточиться на промышленном производстве. С этой целью ряд районов восточнее г. Челябинска, занимавшихся в основном производством сельхозпродукции, вывели из состава Челябинской области и включили в состав вновь образованной Курганской области. Приехав в июне 1942 года в деревню Зырянка Челябинской области, я выезжал в 1943 году из Зырянки уже Курганской области. В последний раз был там перед войной в 1940 году, за два года до этого приезда.

Я помню, как до войны к расположенной всего через четыре дома от бабушки конторе ГОРТОПа (организация, заготавливавшая дрова для нужд города) то и дело подъезжали машины за путёвками или нарядами на работу, сновал народ, мужчины и женщины по разным делам. По вечерам собиралась молодёжь – парни и девушки лет по семнадцать-восемнадцать. Помню, как парни, человек пятнадцать, перегородив широкую деревенскую улицу, шли цепью с гармонистом посередине и громко, во всю силу молодых лёгких, пели частушки. Замечу: трезвые! Тогда такого повального пьянства как сейчас, независимо от возраста, не было. После того, как эти крутые парни сделают несколько проходов вдоль улицы, вся молодёжь шла за околицу и начинались танцы под гармошку. Танцевали кадрили, краковяк, польку. Нередко и «дробец» (это российская разновидность чечётки). Ну а ещё позже, когда мы, малолетние пацаны, уходили домой, молодёжь постарше, разбившись на парочки, расходилась кто куда. Парни заботливо укутывали девушек пиджаками от нещадно жаливших комаров. Почти у каждой девушки в одной руке была ветка берёзы, чтобы отмахиваться от комаров.

И вот лето 1942-го. И сразу одна, пожалуй, самая красноречивая примета времени. Деревня при железнодорожной станции Зырянка состояла из трёх посёлков: Чинеевского, станционного и Медвежанского. На входе в наш (Чинеевский) посёлок стоял дом, в котором была государственная пекарня. До войны в ней выпекался в русской печи хлеб на поду, круглыми караваемы, а не в формах, кирпичиками, как это повелось уже в те времена в городе. И когда из печи вынималась очередная партия этих хлебов, чисто пшеничных или ржаных (особенно ржаных), запах свежее испечённого хлеба широко распространялся вокруг, подавляя порой все остальные сельские ароматы. И вот иду я и смотрю: изба ещё стоит, но хлеб в ней уже никто не выпекает. Даже для себя.

В нашем посёлке нет почти ни одного мужчины и парня старше семнадцати. Последних взяли в армию осенью 42-го года. До сих пор перед глазами Витька Наговицын, который держит перед глазами районную газету. В ней карикатура (кажется, Кукрыниксов): на парашюте опускается немецкий диверсант, а под ним со штыком, обращённым вверх, стоит красноармеец. И слова:

*Ты на российском рубеже
Искал посадочной площадки?
Лети, лети! Тебе уже*

Готово место для посадки!

Помню, как Витька комментировал слова: «Лети, лети, тебе уже готово место для посадки!» Со вкусом, с язвительностью, с полным пренебрежением к противнику. Естественно, со всем набором тех непечатных выражений, которыми мог выразить свои искренние чувства нормальный деревенский парень того времени, выросший в простой среде. В нём жила от предков унаследованная твёрдая убеждённость в том, что «русские прусских всегда бивали!».

А вскоре и его «забрали» (как это было принято говорить в те времена). К сожалению, я так и не знаю, что с ним стало. Возможно, его постигла под Сталинградом судьба многих молодых советских парней, которые (место открытое и со всех сторон обстреливаемое) тут же полегли под огнём вражеских батарей и авиации, не успев даже построиться после выхода из вагонов.

Мы, мальчишки четырнадцати-пятнадцати лет вдруг повзрослели: старшего никого не было! Но дело не в возрасте, а в том, что все работы, что положено делать по хозяйству, и в которых сельские ребята, безусловно, ранее только участвовали, стали полностью только их уделом: ведь делить-то работу стало не с кем!

Враз осиротели взрослые девушки в деревне. В отсутствие парней (мы, малолетки, конечно, не могли быть им ровней) они редко появлялись на улицах. Не слышно стало их милой девичьей болтовни, смеха. Деревня как бы посуровела.

Теперь днём в деревне, когда матери уходили с зарёй из дому на работу – колхозную или какую другую, всю работу домашнюю стали выполнять только эти подростки, мальчишки и девчонки. Надо было и корову обиходить, и в огороде вскопать, прополоть, полить, и сена в сенокос накосить, и дров на зиму заготовить. Кстати, о дровах. Я уже упомянул о ГОРТОПе. Семьям фронтовиков, работавших до войны в этой организации, можно было выписать в ней дрова. Тётя, работавшая в ГОРТОПе, тоже выписывала. Одно- и двухметровые «дровины» нужно было доставить домой (мы доставляли на двухколёсной тележке), распилить и расколоть, чтобы не выполнять эту работу зимой, когда всё завалено снегом, да и дрова сырые. Пилили мы эти дрова с пятидесятичетырехлетней бабушкой. А вот колоть эти девять кубов, распиленных на чурбаки длиной в 1/3 метра, на холодную (тогда) уральскую зиму, довелось мне, тринадцатилетнему мальчишке. А кому же ещё?

А ведь те, кто не мог выписать дрова в ГОРТОПе, должны были натаскать хворост или валёжник из лесу. И была ещё одна нелёгкая работа летом: поливка овощей, особенно при отсутствии дождей. Не было тогда в деревне ни электронасосов, ни шлангов. А был колодец, порой отстоявшийся от грядок метров за пятьдесят и более. И из этого колодца воду с помощью журавля (или ворота) нужно было поднять с глубины пяти-восьми метров. И донести в вёдрах до грядок. А для поливки всех грядок с помощью лейки требовалось по тридцать-сорок вёдер за один вечер. Таскали. Так же как делали и другие, порой совершенно не детские работы, безропотно: а кто же за нас это сделает? Всё, что приходилось делать, определялось одним ёмким и жёстким словом: надо.

И ещё одна напасть того времени. Вши. (слова «педикулёз» тогда не знали. И вообще, тогда все говорили только по-русски: вшивый, значит вшивый). Мыло

в войну в городе давали по карточкам. Не очень часто. И иногда оно не было похоже на то мыло в твёрдых кусках, которым мы обычно моемся. Цвета от светло-коричневого до почти белого. Я помню, как однажды ходил за мылом, привезённым в магазин, с тазиком: оно (мыло) было жидким и довольно вязким. А в деревне за всю войну (да и не один год после войны) мыло не продавалось. Обходились чем могли. В первую очередь это был щёлок – зола, распушенная в воде. Этим мыли голову и тело. А вот чем стирали бельё уже не помню. Говорят, некоторые для этой цели использовали какие-то разновидности глины, другие находили какие-то растения, с помощью которых легче удалялась грязь с белья. В такой ситуации завшивленность была неминуемой. Но я не помню, чтобы нас в городе особенно донимала эта беда. Бани работали регулярно, а при необходимости можно было сходить в санпропускник, где в специальной камере за время мытья пришедшего в пропускник его одежда и обувь проходили термообработку высокой температурой. В деревню Зырянку я прибыл с пышной шевелюрой, которую начал отращивать с пятого класса. Несмотря на все усилия мамы, я не хотел расставаться с этим отличительным элементом своего облика. Волосы у меня были густыми, мягкими и, на момент прибытия в Зырянку, довольно длинными (элемент мальчишеского самоутверждения). Но бабушка моя была человеком практичным, к тому же, когда требовалось, суровым и непреклонным. На другой день после моего прибытия бабушка сказала тоном, не допускающим возражения:

– Сходи к Егору Дедову, – жил напротив инвалид войны, уже вернувшийся с фронта живым, без ноги по колено. – Пусть он твои патлы обстрижёт! Так она назвала предмет моей мальчишеской гордости!

– Не пойду, – забурчал я.

– Ещё как пойдёшь! Не разводил тут еще у меня вшей!

Что же, сила и солому ломит. Пошёл.

Егор стриг с солдатскими шутками-прибаутками. Он быстро «оболванил» меня. На последующие четыре месяца я лишился своего городского шика. И так в течение года, что я жил у бабушки, я несколько раз ходил к Егору Дедову более не пытаюсь сопротивляться.

Первые дни я вёл себя в доме бабушки, как и в былые годы, гость: спал, ел, бездельничал – ходил к сверстникам, знакомым деревенским мальчишкам. Они, занятые делами по хозяйству, уделяли мне время по возможности. Поэтому я, завзятый книголюб, читал книги и старые журналы, которые удалось обнаружить у бабушки. На третий день бабушка сказала:

– Почисти в стайке.

Взял вилы, пошёл. Но оказалось, что это совсем непростое дело, почистить в стайке. Несмотря на то, что на дворе стоял июнь, на полу в стайке лежал плотный слой хорошо смёрзшегося вперемешку с сеном навоза. Я поковырял-поковырял вилами, а эта субстанция вилам не очень-то поддаётся. К тому же, подобная работа мне, городскому мальчишке, была совершенно незнакома. Дома я не был белоручкой и, будучи учеником шестого класса, делал дома все работы, которые поручала мне мама. Мыл полы, вытряхивал пыль из половиков, выносил золу (точнее шлак) из печки, обогревавшей комнаты (мы топили её углём), колол, приносил дрова и растапливал печь и следил за тем, чтобы содержимое в печи полностью сгорело, прежде чем перекрыть дымоход.

Заполнить водой, принесённой с колонки, десятиведёрную кадку, что стояла в сенях, тоже было моим делом. И за хлебушком выстоять многочасовую очередь было моей обязанностью. А здесь была совсем другая, совсем нелёгкая работа. Видя, что ничего не получается, я вышел из стайки, сел на брёвнышко и задумался: что делать. И тут «мыслитель» попался на глаза бабушке.

– Почистил?

– Да нет, – протянул я – не получается.

Не стану воспроизводить бабушкину тираду, из которой определённо и однозначно следовало, что я лоботряс и дармоед.

– Я есть не буду, – обиженно буркнул я.

– Губа толще – брюхо тоньше, – немедленно отпарировала бабушка, и тут же сурово добавила:

– Иди, чисти!

Я взял вилы и понуро побрёл в стайку. Но, как известно, терпение и труд всё перетрут. Постепенно у меня что-то начало получаться. Вот уже отковырнулся один хороший кусок, вот второй. Дело пошло. А потом я стал замечать, что горка «предмета труда» снаружи стайки стала заметно расти. И руки с вилами стали управляться всё ловчее и ловчее. На обед я, обиженный словами бабушки, не пошёл. А она дважды приглашать не стала. Пообедала одна, с моей двоюродной четырёхлетней сестрёнкой Люськой (тётя Лиза днём работала). Ужинать я пошёл с первого приглашения. Ивановский характер был мне хорошо известен. К концу второго дня работы я завершил чистку стайки. Самым интересным (и неожиданным!) для меня оказалось то, что я получил удовлетворение от выполненного задания. Может, главным было то, что я освоил приёмы новой, пусть и не самой приятной и сложной, но незнакомой мне ранее работы?

Когда подошла пора косить сено, и бабушка, перепрыгивая с кочки на кочку, стала косить осоку на ближайшем болотце (а деревня Зырянка расположена на довольно-таки низинном месте), я загорелся желанием овладеть искусством сенокосения. Ведь сверстники мои, деревенские ребята, косили! Но бабушка сходу отмела мою инициативу, сказав:

– Сломаешь мне литовку, где я её потом возьму?

Литовками называли в деревне косы. Видимо, название сохранилось с тех времён, когда их завозили из самой Литвы.

Ещё один характерный штрих. Большинство мальчишек в детстве пытаются курить. Некоторые втягиваются в это грязное занятие и «смолят» вначале потихоньку, а потом, повзрослев, и в открытую. И с какого-то момента курят уже и при родителях. Стали взрослыми! Ну, а в деревне, когда мои одноклассники вдруг стали самыми старшими, курение было как бы показателем «взрослости». Правда, втихаря от матерей, которые за эту забаву могли и по губам надавать. Даже была такая угроза родительская: «губы оборву!», когда обнаруживалось, что дитя несмышлёное курит. Но курили. И вскоре после моего вхождения в круг деревенских сверстников я услышал вопрос:

– Куришь?

– Да! – ответил я, не задумываясь. И тут же был подвергнут испытанию:

– На, зобни! – сказал задававший мне вопрос и протянул самокрутку, которую только что держал в зубах. Я втянул в себя немного дыма и выдохнул.

К своему изумлению и к удовлетворению окружающих, не задохнулся, не закашлялся. И, как я понял, авторитет мой в глазах товарищей сразу порос. Но курева-то настоящего не было! И приходилось перебиваться, чем попало. Нередко мхом, надёрванным из пазов между брёвнами изб. Но это было и горько, и невкусно.

А вот, курили! Взрослые, чай!

Хлеб – имя существительное

Что означал хлеб в войну

Среди моих деревенских друзей мне особо запомнились Шумские, у которых в избе мы чаще всего собирались. Они приехали перед войной из г. Кемерово. Отец был взят на фронт в самом начале войны, и писем от него они не получали. У матери были дочь Полинка, 1926 года рождения, сыновья Ананий 1929-го, Ефим 1931-го и Ванечка 1939 года рождения. Мать целый день работала в колхозе. Дочь работала на каком-то предприятии в г. Кургане (пятьдесят километров по железной дороге). В деревню Зырянку она наезжала изредка. От государства Шумские получали в месяц, как и все, по три килограмма муки (т.е. по сто грамм на день) на каждого члена семьи и больше ничего. Огорода у них не было. Потому ли, что не успели обзавестись семенным материалом до войны, или не хватало терпения сидеть голодом, когда есть картошка для посадки. Не знаю. Сейчас, на протяжении последних десятилетий, можно не просто купить, но выбрать в хлебных магазинах себе по вкусу не только хлеб и булки. Вы имеете возможность приобрести любые продовольственные товары. А потому очень трудно представить себе пустые полки в магазинах и строгое нормирование отпуска продуктов, которые, к тому же, завозились в магазины далеко не всегда. Это трудно представить себе сегодня даже нынешним бабушкам и дедушкам, родившимся после войны, не говоря уже об их детях и внуках. И на этом фоне тем более трудно представить: три килограмма муки на душу в месяц. Чтобы растянуть эти граммы на целый месяц, хлеб выпекался не из одной ржаной, грубого помола муки. Она часто составляла лишь четвертую часть того, что сажалось в печь. Ещё одна четверть сваренная в мундирах, тщательно размятая и смешанная с тестом картошка, четверть – мелко нарубленная лебеда – сорняк, в изобилии росший на огородах и, наконец, – ещё раз перевеянная полова – остатки мякины на колхозных токах, оставшиеся после провеивания прошлогодней половы ржи или пшеницы. Не один раз мои деревенские товарищи приглашали меня на лыжную прогулку. Но это было не бесцельное, просто для физического развития бегание по лыжне. Это были походы по старым токам, на которых год назад отвеивали рожь, с попытками ещё раз отвеять (хоть немножко) зерна. Были случаи отравления продуктами перевеивания этой половы. Дело в том, что в полове могли оставаться рожки спорыньи – колонии грибкового заболевания, которому нередко подвержены рожь, пырей и ряд других злаковых культур – диких спутников культурных злаков. При жатве рожки спорыньи вместе с зёрнами культурного злака попадают в общую массу, а при провеивании зерна эти рожки остаются в полове. Помню плакаты времён войны, где граждане предупреждались об опасности отравления спорыньей и головнёй (ещё один вредитель злаковых). В случаях,

когда удавалось собрать в поле достаточное количество колосков, оставшихся после жатвы (не попавшись при этом на глаза объездчику – можно было и в тюрьму угодить за хищение государственных продуктов!), зерно из них перемалывалось на ручных жерновах. И эта мука, больше похожая на манку (на ручном изрядно сношенном жёрнове тоньше, – сам пробовал, смолоть трудно), смешивалась с «казённой» мукой, Хлеб из этой массы после выпечки был совершенно чёрным на вид, буквально, цвета чернозёма. А на вкус? Я несколько раз просил деревенских дать попробовать немного этого хлеба. Но ни разу ни один мой деревенский товарищ, несмотря на большую дружбу, не отщипнул даже крошки на пробу. И ещё о семье Шумских. Однажды я зачем-то зашёл к ним вечером. При свете установленного на минимально возможную величину фитиля керосиновой лампы (керосин экономили: купить его в деревне было негде, да к тому же и некогда, да и не на что) вся семья собралась в центре избы, глядя вверх. А вверху на верёвке, продетой через кольцо, укрепленном на матице (когда-то на нём висела зыбка младенца), висела какая-то тушка. Поймав мой удивлённый взгляд, братья и сестра, дружно, перебивая друг друга, начали рассказывать, что удалось (как-то там) отловить зайца, и они его свежуют. Шкурку, правда, не показали. Когда я, придя домой, рассказал об увиденном и о том, что мне сказали, бабушке, она иронически усмехнулась и сказала:

– А ты поверил! Да это кошка!

– Ну да!

Я не стал спорить, просто про себя подумал: как это кошка – и вдруг есть! И только позже, с накоплением жизненного опыта, понял правоту бабушки. Чего не съешь с голодухи! Много лет спустя после этого, жена моя, прожившая голодное военное детство в г. Архангельске, рассказывала, как они ели тюленину. Не все, даже очень голодные, могли есть мясо со вкусом рыбы. По этому поводу позволю себе небольшое отступление, напрямую связанное с тем, о чём я рассказываю. Много лет спустя, когда я жил уже в г. Горьком, в одну из годовщин снятия блокады г. Ленинграда средства массовой информации передавали воспоминания очевидцев о том, как эвакуированные из г. Ленинграда в г. Горький дети комментировали то, что они видели из окон автобуса, проезжая по городу:

– Смотрите, вороны!

– А вон собака!

– Смотрите, сколько еды! (Это они о воронах, кошках, собаках – о всей живности, что бегала и летала по улицам города, далёкого от фронта). Именно в этой партии детей была и знаменитая теперь на весь мир Таня Савичева. Детей отвезли в детский дом в районное село Шатки. К сожалению, некоторых из них, крайне истощённых голодом в блокадном г. Ленинграде, так и не удалось спасти. Умерла и девятилетняя Таня Савичева.

В избе, что стояла рядом с избой Шумских, проживала молодая 20-летняя вдова Ульяна с дочерью, двухлетней Лизкой. У неё не было ни огорода, ни тем более скотины. Как она попала в деревню Зырянка, я так и не знал. Только вспоминается порой её прозрачное от худобы лицо, какие-то отрешённые тоскующие глаза и поведение тихой забитой мышки. Иногда она приходила посидеть с нами, когда мы порой собирались попеть. Посидит молча и уйдёт. О дальнейшей судьбе Ульяны я не знаю, но почему-то вспоминаю о ней с большой

тревогой.

И ещё о нуждах военных времён, с едою не связанных. Помню, Фимка Шумский, лазая со всеми нами где попало, разорвал рубаху. Да так, что прореха шла от ворота до нижней кромки подола. Он так и ходил всё лето с этой прорехой: ни ниток, ни иголки, чтобы зашить рубаху, у них не было. А купить в пределах деревни было негде.

Как делили хлеб в бабушкиной семье

Я уже упоминал о том, что в городе на нас с мамой приходилось тысячу сто граммов хлеба в день. Естественно, мама не съедала свои семьсот граммов хлеба. И я, садясь дома за стол, брал с тарелки один кусок хлеба за другим по мере потребности. Да ещё в школе городской после второго урока давали булочку граммов в семьдесят с чаем. Поэтому за столом у бабушки в деревне я в первые дни стал брать с тарелки хлеб так же, как дома, кусок за куском (а аппетит у меня был всегда хороший).

– День, второй ...

На третий день тётя (сестра отца) в начале обеда спокойно сказала:

– Ты много ешь хлеба.

Я обиделся, ответил:

– Будем делить хлеб!

Спустя какое-то время, поразмыслив, я понял, что тётя была права. Если в городе тысяча сто граммов хлеба в день приходилось на нас двоих с мамой, то в деревне на четверых по норме приходилось: триста граммов хлеба бабушке, триста граммов мне, триста граммов тёте, служащей ГОРТОПа, и сто пятьдесят граммов дочери тёти, моей четырехлетней двоюродной сестрёнке.

Итого тысяча пятьдесят граммов на четверых. Но ведь никто мне этого не объяснил, а сам я додумался не сразу. Надо ли при этом напоминать о том, что был я тогда в возрасте, когда шёл интенсивный рост организма, и потребность в питании была максимальной.

И вот я, выкупив в железнодорожном магазине хлеб на себя и бабушку (а выкупал его я на три дня вперёд), приносил полученное домой, разрезал пополам и развешивал на безмене. На своём куске я делал надрезы: два поглубже (куски отделяемые на каждый день), и на каждом из этих кусков ещё по два надреза помельче – кусочки на каждый приём пищи в течение дня – на завтрак, обед, ужин. По сто граммов на один раз. Хорошо, что хлеб этот, выпеченный в глубинке, в государственной (железнодорожной) пекарне был более качественный, чем в городе: картошки и других примесей было меньше. В моих походах за хлебом самое трудное бывало тогда, когда продавщице не удавалось отрезать сразу кусок нужного веса. И нередко к первому большому куску добавлялись довески. И вот несёшь домой этот хлеб с довесками, и так хочется съесть хотя бы один, самый маленький. И бабушка, наверняка, не заметила бы этого, а заметив, едва ли осудила бы внука, которому так хотелось хлеба! Но я ни разу не позволил себе сделать это из внутреннего чувства стыда перед бабушкой, который так и не позволил мне съесть довесок. Я и сейчас горжусь этим!

Не забуду, как я съедал в течение дня эти свои триста граммов. Завтрак: в руках у меня стограммовый кусочек хлеба. Бабушка ставит на стол глиняную

миску с картошкой, которую она перед этим, сварив «в мундирах», очистила, слегка подсолила и поставила в жарко натопленную печь. Картошка покрылась хрустящей корочкой и источает приятный аромат.

Я надкусываю свой кусочек хлебushка, беру картофелину, подсаливаю по вкусу, надкусываю, жую. Ни масла, ни молока. В какой-то момент мне требуется запить то, что я жую. В кружке чай: это высушенные листья брусники. Запиваю, снова откусываю хлеб и картошку. День, два, три. В какой-то день организм взбунтовался. Я как обычно откусил, прожевал, пытаюсь проглотить то, что прожевал. Но организм вдруг не захотел принимать прожёванное. Я выскакиваю из-за стола, выхожу в сени, выжидаю. Почувствовав, что смогу есть дальше, вновь сажусь за стол. И вновь заталкиваю в рот то, что противно организму. Бабушка молча наблюдает за мной. Она понимает, что со мной творится. Я снова сажусь за стол, доедаю свой кусок хлеба всё с той же картошкой. Настолько насколько могу. Запиваю чаем – настоем высушенных брусничных листьев. После этого одеваюсь, иду в школу. Беру с собой сто граммов хлеба (второй кусочек из трёх причитающихся на день). Его я съем с сиротским супом (о том, что это такое, расскажу дальше).

А когда я возвращался из школы, бабушка наливала тарелку щей из квашеной капусты, которые она заправляла сушёным зелёным луком (лук-перо), поджаренным на топлёном масле – одна столовая ложка масла на кастрюлю щей, сваренных на всю семью. На второе опять же картошка, выдержанная в горячей русской печи. И тот же чай с заваркой из сушёных брусничных листьев. И те же сто граммов хлеба. Картошки можно было есть сколько угодно, но плохо лезла она в рот без хлеба (и хотя бы без капельки масла).

В первое лето по приезде в деревню я устроился на работу на прополку картофеля на полях подсобного хозяйства организации «Заготживсырьё». Не помню всех условий расчёта за работу. Главным было то, что за каждый рабочий день выдавалось по пятьсот граммов хлеба. Не помню и норму выработки. Просто я с тяткой вставал в общий ряд с такими же, как я, наёмными рабочими из местных и делал столько же, сколько и они, нисколько не отставая от них. Помню кашу (как правило, перловую), сваренную на костре и заправленную пережаренным свиным салом, которой нас кормили в обед. Сало было снято со шкур, сданных этой заготконторой. Дело было летом. Жарко. А шкуры свеживались плохо, иногда и не сразу после забоя свиньи, да и ледников хороших поблизости не было. Поэтому сало на этих шкурах успевало изрядно прогоркнуть. Но работнички рады были и этому: каша на сале, хоть и с противным привкусом, да ещё и с хлебом! Правда, с тех пор я (а прошло более 70 лет) не могу есть ничего поджаренного на свином сале.

Однажды в ГОРТОПе, где работала тётя, сломала ногу лошадь. Её прирезали и мясо поделили между работниками этой организации. У нас, как и у большинства русских, было предубеждение к «махану», так называется конина по-татарски. Но когда бабушка приготовила этот неожиданный подарок судьбы и подала за воскресным обедом, мы были приятно удивлены. Лошадь была молодая, и мясо не имело ни привкусов неприятных, ни запаха. По виду то же говяжье, только волокна заметно крупнее. Говорили, что пахнет потом мясо старых лошадей. А тогда... Если бы никто не сказал, что это махан, можно было бы и не заметить. С каким удовольствием мы разговелись после

многонедельного поста! Не считать же всерьёз за скоромное ту столовую ложку топлёного масла, которой бабушка заправляла кастрюлю щей!

Хлеб в закрома Родины

О том, что хлеб наш насущный даётся большим трудом, мы, в общем-то, знали. Кто-то, побывав на полевых работах вместе со старшими, кто-то по наблюдениям за тем, как родители и старшие братья и сёстры встают летом с зарёй (а то и до зари), наскоро перекусив, идут на полевые работы и возвращаются чуть живые от усталости поздним вечером. Но до войны в поле выходили трактора и комбайны, а кроме них в колхозах было достаточно тягловой силы – и лошади, и быки. Были и грузовые автомашины. С началом войны большинство молодых и среднего возраста мужчин ушли на фронт, а потом туда же отправились и более молодые, и более старые. Многие трактора, которые получше, были взяты для армейских нужд. А те, что остались, часто ломались. Комбайны были несамоходными, их должен был буксировать трактор. И вот при отсутствии комбайнов (те, что были, поломались, а ремонтировать было некому, да и нечем) хлеба стали косить вручную. Косили косой, над которой были надстроены редкие грабли в пять-шесть зубьев, чтобы срезанные колосья не рассыпались. А норма на один трудодень составляла 80 соток, т. е. 0,8 гектара (8000 квадратных метров). Для того, чтобы представить физически, что это за работа, необходимо хотя бы полчаса просто покосить траву. А потом сделать поправку на то, что коса утяжелена надстроенными граблями, колос злаковых культур куда более жёсткий, чем колос любой травы, что косить нужно полный рабочий день, от зари до зари, с небольшим перерывом в самое пекло. Это был один из вариантов «трудопалочки».

Так как рабочих рук в деревне не хватало, а рабочих от станков, кующих оружие победы, отвлекать было нельзя, для работы в поле использовались школьники старших классов городских школ (а в деревне начиная с 5 класса), учащиеся техникумов, студенты. Поэтому учебный год в школах, техникумах, вузах в 1942-1944 годах начинался с 1 октября. А кое-где в деревнях ещё и позже.

Помню, как мы, семиклассники деревенской школы, под морозящим дождём перетаскивали в поле снопы. И весь педагогический состав школы был с нами. Одежда и обувь за ночь дома едва успевали просыхать, а на завтра снова в поле. Мооровский плакат «Ты чем помог фронту?» был обращён ко всем. И все понимали его суровую суть, необходимость и неизбежность. Наша работа в поле продолжалась до октября.

Много лет спустя, когда я, находясь в Чехословакии в длительной командировке, начал рассказывать знакомому чеху о том, что советские люди в войну жили впроголодь, а некоторые вообще голодали, он очень удивился. При этом он сказал:

– У вас же столько земли! Почему же не хватало хлеба?

И пришлось объяснять, что война началась всего через девять лет после того, как были построены советские тракторные заводы (Челябинский, выпускавший тракторы с маркой ЧТЗ, Сталинградский – СТЗ, Харьковский – ХТЗ). Что бóльшая часть тракторов была взята из МТС для нужд фронта, а новых тракторов в течение войны деревня не получала. Что запчастями до войны не сумели обеспечить все МТС и зачастую тракторы простаивали в борозде из-за

отсутствия каких-то деталей. Да и ремонты-то делать было некому: мужчины взяты на фронт, а женщины этому и не обучены, и физически тяжело проводить многие работы, связанные со съёмкой и установкой деталей, весивших десятки килограммов. Что из-за поломок комбайнов приходилось косить колосовые вручную, а потом также вручную собирать скошенный хлеб (вязать снопы и складывать их в копёшки), и потом свозить снопы на тока для обмолота. И что приходилось пахать на волах и лошадях, что не обеспечивало необходимого качества вспашки. Что ряд агротехнических работ (в частности, очистка семян перед посевом) просто не выполнялся по ряду причин. И я помню ржаные поля в июле 1942-1943 годов и нескольких последующих. Они в июле были желто-зеленого цвета из-за того, что цвела сурепка, семенами которой был обильно засорён посевной материал.

Вот как и чем заполнялись закрома Родины в период Великой Отечественной войны и несколько лет после неё.

Сельская школа

Деревенская школа, в седьмой класс которой я поступил, была школой-семилеткой или, как это тогда называлось, неполной средней школой. По её окончании выпускник получал свидетельство. А далее он мог продолжить обучение в восьмом-десятых классах, чтобы получить среднее образование и поступить в институт. После седьмого класса можно было также поступить в какое-либо среднее специальное учебное заведение. Тогда это называлось техникум. Располагалась школа в Медвежанском посёлке Зырянки. Чтобы попасть в школу, мне нужно было пройти половину Чинеевского посёлка (бабушкин дом стоял примерно посередине посёлка), станционный и треть Медвежанского. Дорога бодрым мальчишеским шагом отнимала около двадцати минут. Мощёных дорог в деревнях тогда не было. Так что в школу и обратно приходилось идти в начале учебного года по пыльным протоптанным дорожкам, которые в периоды дождей и снеготаяния превращались в грязевые; зимой по снегу, уплотнённому на этих дорожках ногами не очень многочисленных пешеходов. Для школы было выстроено длинное одноэтажное деревянное строение, во всю длину его тянулся коридор, в который выходили двери довольно просторных классных комнат с не по-деревенски широкими окнами и высокими потолками. Отопление было печное. Справедливости ради нужно сказать, что в школе зимой было тепло. Ни водопровода, ни канализации в деревне, естественно, не было. А посему «по нужде» мы бегали в расположенный неподалеку от школы туалет, типа «сортир», «М» и «Ж», невзирая на погоду.

Пожалуй, необходимо рассказать, как был организован учебный процесс в сельской школе в 1942-1943 учебном году. Седьмой класс был выпускным, т.е. мы были самыми старшими в школе. Почти половину школьников в нашей школе составляли москвичи, которые проживали в интернате – в соседнем здании, в котором школа размещалась раньше. Так что в каждом классе москвичи и местные были вперемешку. Эти две категории довольно заметно отличались друг от друга уровнем подготовки, степенью информированности, да и поведением. Москвичи вели себя более свободно. Нужно отдать им должное, они не очень-то заносились, хотя и не упускали случая показать, что

местные им не рѳвня. Я оказался в особом положении. По уровню информированности и начитанности я москвичам не уступал, по способностям к усвоению наук многих превосходил, и они вынуждены были принимать меня соответственно, практически как своего. В то же время то, что я жил в среде деревенских той же жизнью, делало меня своим среди «аборигенов». Учителя большей частью были из местных, но были и приезжие, эвакуированные из разных городов. Поговаривали, что директор, он же преподаватель русского языка и литературы, наш класный руководитель Пётр Алексеевич Амосов, до войны был заместителем наркома просвещения Молдавской ССР. По тому, как он держался, вёл себя и действовал, я этому утверждению верил и верю до сих пор. Но проверить сейчас это едва ли возможно. Жена его, Сусанна Георгиевна, также вела русский в других классах. Их сын Олег учился в пятом классе и проживал, естественно, не в интернате, а с родителями на квартире. Учителем математики (алгебра и геометрия) и физики была совсем молоденькая – всего 19 лет! – учительница, Руфина Павловна Маринкина. Она только что прибыла по окончании Златоустовского педагогического техникума и тут же получила, кроме уроков по трём предметам в шестом и седьмых классах, ещё и класное руководство в нашем седьмом. Поначалу она очень смущалась, то и дело рдела каким-то очень нежным румянцем (этот румянец так шёл ей при её тонкой белой коже). А потом попривыкла, хорошо вошла в роль, и вскоре о смущении было почти забыто. А вот учителем и педагогом она оказалась первоклассным. Чувствовалось, что учительское ремесло для неё не просто возможность заработать деньги, но и призвание. До сих пор вспоминаю её с благодарностью. Правда, ни кабинета физики, ни лаборанта при нём не оказалось (то ли по штатному расписанию их не полагалось, то ли война «схарчила» то и другое). Из всех опытов за весь учебный год мы смогли увидеть только один. Марина Павловна «оживила» электрофорную машину. Мы, как заморожённые, смотрели, как между шариками, укреплёнными на концах стержней, проскакивают электрические искры при вращении дисков с наклеенными на их поверхностях станиолевыми листочками. Среди преподавателей, кроме Петра Алексеевича, был ещё только один мужчина – преподаватель военного дела. Вопросам военной подготовки в войну придавалось особое значение. Списанный по ранению сержант был, вероятно, направлен к нам военкоматом. Могу себе представить, как воспринимал директор этого неграмотного, неотёсанного человека, который своим корявым языком и манерами вызывал смех даже у самых слабо подготовленных учеников. Уверен: более четырёх классов, из которых он мало что вынес, за душой у него ничего не было. И кроме учебников, читаемых поневоле (когда-то давно), в руках его никаких книг никогда не было. Но военное дело в школе должно было быть! И оно было. С укомплектованием учительских кадров в войну, особенно в сельской школе, дело обстояло сложно. Местных кадров не хватало, а ждать кого-то было проблематично: ну кто поедет в какую-то деревню Зырянку? Немецкий язык преподавала старенькая (лет семидесяти) учительница Валентина Петровна, которая с трудом взбиралась на стул на кафедре и не вставала с него до конца урока. Мы были наслышаны, что она не один раз пыталась отказаться от преподавания. И Петру Алексеевичу приходилось пускать в ход всё своё красноречие и обаяние, взывать к её гражданским чувствам, делая упор на то,

что в войну все мы должны сделать что-то для Родины, для победы, невзирая на своё состояние. И она довела учебный год до конца и даже, насколько помню, была председателем комиссии на экзамене по математике. Тогда ведь экзамены начинали сдавать с четвертого класса и никаким стрессом это не считалось. Географию и историю вела Зинаида Петровна. Не хочу называть фамилию, вдруг кому из её родственников на глаза попадётся мой рассказ. До сих пор помню уровень её преподавания, язык, которым она излагала материал, объём сведений, которые она до нас в меру необходимости и по мере способностей своих пыталась доносить. Можно было не сомневаться в том, что она кроме обязательной литературы и конспектов ничего за время обучения в педагогическом техникуме не прочитала. Так же как и до и после. Как была деревенской девчонкой со своим уровнем развития, манерами и представлениями, так ею и осталась, несмотря на диплом. Она и внешним видом не напоминала учительницу ни манерами, ни одежкой. У меня и у московских ребят из интерната, что был при школе, она не имела никакого авторитета. Да и деревенские её не очень-то уважали, видя, насколько стиль и содержание ответов горожан превышают то, что она демонстрировала проводя уроки. Меня она скоро возненавидела лютой ненавистью за то, что я не упустил случая что-то съязвить на уроке по любому удобному случаю. Но сделать со мной она ничего не могла: уроки я неизменно отвечал на «отлично», рассказывая в ответах на заданные вопросы всегда шире того, что было дано в учебнике.

Преподавателя химии и биологии у нас не было в течение всего первого полугодия. К счастью, появившаяся, наконец, во втором полугодии учительница оказалась достаточно хорошо подготовленной и сумела за полгода донести до нас материал в объёме годовой программы и подготовить к экзаменам. И всё представление о химии, о её законах и возможностях, а главное, о взаимодействии различных элементов и субстанций, формировалось у нас, учеников, лишь «на мелу» – на основе услышанного от учителя, увиденного на доске и прочитанного в учебнике: лаборатории по химии в школе не было, а значит, и опытов мы никаких не видели.

Памятный день рождения

В деревню Зырянку из г. Челябинска я прибыл летом 1942-го года с комплектом летней одежды. Было кое-что и из тёплого, но полного комплекта зимней одежды – пальто, шапка, валенки, свитер – мне сразу с собой не дали: тяжело, да и небезопасно. Могли и обокрасть неопытного доверчивого пацана в дороге. Но наступила осень, по утрам стало заметно свежеть, и почувствовалась уже практическая необходимость в зимней одежде. А она – в г. Челябинске, за двести двадцать километров, и туда нужно ехать. Чтобы взять билет на поезд, необходимо было иметь три документа,

– справку из учреждения (организации) в котором человек работает, что ему предоставлен отпуск на ...дней (в войну на каждом рабочем месте был нужен и дорог каждый работоспособный);

– справку из милиции, подтверждающую личность и правовую безгрешность (в частности, что не уклонист, т.е. не дезертир);

– справку из санпропускника (о том, что вещи прошли обработку в

прожарочной камере для дезинсекции, а сам я основательно помылся с мылом; иначе говоря, что вшей на мне и одежде моей, даже если они были перед санобработкой, нет!).

На этом пункте остановлюсь особо. Войны и разного рода житейские катаклизмы, связанные с перемещением огромных масс людей, очень часто сопровождались эпидемиями, в которых людские потери были соизмеримы с потерями на фронте. И я не один раз с удивлением констатировал про себя, что этот подвиг (не сомневаюсь в уместности этого слова) санэпидслужб армии и тыла СССР так и не нашёл отражения ни в литературе, ни в каких бы то ни было государственных актах (или, хотя бы, заявлениях). Если в первую мировую, а затем, в гражданскую войны была массовая гибель людей от инфлюэнцы (гриппа), брюшного и сыпного тифов, то в Великую Отечественную эта беда обошла нас стороной.

И последнее, а порой главное, можно было не суметь сесть на поезд: поезда ходили переполненные.

И милиция, и «вошебойка» были в райцентре, в Юргамыше, где жила моя вторая бабушка Антонина Николаевна, мать родной мамы. Значит, нужно отправляться в Юргамыш. И вот в один из первых дней октября я, отпросившись в школе (работы школьников в поле заканчивались), отправился в Юргамыш. Пешком, конечно. Двадцать километров пешком по тем временам большим расстоянием не считалось. Ведь специального транспортного сообщения в районах не было. Только попутный транспорт – автомобильный (очень редко) или гужевой. И с дорогой не повезло: хорошей грунтовой дороги до Юргамыша не было. А та, что имелась, в период осенних дождей была во многих местах, особенно в низинах, под водой. Оставался один торный путь: по шпалам. Это четверть века спустя молодёжь будет весело распевать:

И я по шпалам, опять по шпалам

Иду домой по привычке.

Заметим (мимоходом), что та моя ходьба по шпалам была совсем по другой причине и в другом состоянии. Ну да не об этом речь.

Итак, вернёмся в год 1942, октябрь. На улице градусов шесть-восемь тепла, не сильный, но постоянный порывистый ветер. Небо мрачное, свинцово-серое, с небольшими пятнами просветов. Из этих свинцовых туч, почти не переставая, сеет противный мелкий дождичек. Бабушка разбудила меня, покормила (картошка, стакан молока и сто граммов хлеба), положила в сумочку несколько картофелин, я взял два кусочка хлеба по сто грамм. Зная, какая дорога мне предстоит, бабушка спокойно закрыла за мной дверь. Подобного рода пешеходные походы для тех времён были обычным делом. Я, дойдя до железнодорожного полотна, поднялся на насыпь и пошёл по колее движения встречных поездов. Противная морось не прекращалась. Поэтому все окружающее можно было видеть сквозь неё метров на триста-четырееста. Создавалось ощущение движения в ограниченном пространстве, границы которого перемещаются вместе с тобой. Не покидало чувство одиночества и бесприютности. И всё равно идти-то надо было! Несмотря ни на что, и не поддаваясь эмоциям. Скажу честно: мыслей о том, чтобы прекратить малоприятное движение, даже не возникало: надо! Поначалу старался идти, наступая на каждую шпалу, но потом понял, насколько это неудобно. Во-первых,

сразу оказалось, что расстояния между шпалами почему-то не соответствуют ширине моего шага. Во-вторых, расстояния эти на практике выдерживались приблизительно. А когда тебе задаётся принудительный ритм чего-то, а ты в него не попадаешь, ты быстро начинаешь уставать. И ещё. Подошвы ботинок то и дело соскальзывали с мокрых шпал, что создавало дополнительные трудности при ходьбе. Пришлось идти по бровке. А её никто для меня не выравнивал: где ложбинка, где бугорок. Но самым неприятным (это очень мягко сказано) оказалось совершенно не предусмотренное обстоятельство: в набухающих от воды ботинках идти было не только скользко, но и очень неудобно. Через пару километров, пропустив несколько встречных поездов, я принял решение: разуться. Медленно стащив один за другим ботинки и засунув в них промокшие носки, я связал их шнурками и перекинул через плечо. Усмехнулся сам себе, вспомнив из литературы, как когда-то мужики, вышедшие из деревни босиком с сапогами, перекинутыми через плечо, подойдя к околице большого села или города мыли (а то просто хорошенько обтирали) ноги, обували сапоги и при полном «параде» вступали на улицы населённого пункта. Ботинки сняты, движение продолжено. Ноги сразу почувствовали разницу. И хотя они у меня были хорошо натренированы ходьбой босиком, я всё же поначалу почувствовал и холод мокрой от дождя земли, и боль от острых камушков щебёнки, из которых состояла «подушка» – подсыпка под шпалы. Хорошо, что за целое лето ходьбы босиком, везде и всюду, включая хвойный лес, где шишки сосновые ковром, ноги настолько огрубели, что щебёнка уже их не очень резала. Но от холодной земли и дождя они постепенно немели, деревенели и я переставал их ощущать, испытывая одновременно два чувства: облегчения и опасения. Опасения того, чем такой способ движения может мне обойтись в смысле здоровья, несмотря на систематические зарядки и обтирания холодной водой. Но делать нечего. Идти-то надо! А дорогу, как я прочёл много лет позже, осилит идущий. Не зная ещё, что мысль эта пришла к нам из Китая, я хорошо апробировал ее тогда в Зауралье. Пытаясь отвлечься от довольно противной сиюминутности, я стал вспоминать отдельные книги, стихи, песни. Правда, петь почему-то не пытался, хотя и был большим любителем этого занятия. Потом начал считать, сколько шпал уложено на каждые сто метров (в этом мне помогали пикетные столбики, стоящие вдоль всего пути). Считал, сколько пар шагов приходится на эти сто метров, сколько телеграфных столбов на километре, ещё что-то. Наверное, хорошо, что при мне не было часов, потому что постоянно поглядывал бы на стрелки: до времени открытия милиции, куда я спешил, оставалось чуть более трёх часов. А дождь всё сыпал. И даже встречавшиеся иногда поезда (большой частью грузовые) только разнообразили впечатление от нудного движения. Чтобы пропустить идущий поезд, я отходил на внешнюю сторону бровки из опасения оказаться между двумя движущимися встречными поездами. А бровка была не очень широкой, и поезд пролетал менее чем в метре от меня. Правда, скорости движения поездов в те времена были меньше, чем сейчас, и меня не сильно закручивал создаваемый проходящим составом вихрь воздуха. Пережидая проход поезда, я считал, сколько вагонов в составе. Грузовых и наливных (платформ, полувагонов, хопперов) отдельно. Электротяги тогда не было, и нередко меня накрывал густой дым от проходящего паровоза. У меня на дорогу было что-то из еды, вроде бы кусочек

хлеба да несколько картофелин, но необходимость двигаться быстро и постоянная морось не давали остановиться и заняться этим приятным делом, хотя под ложечкой постоянно сосало. Было как-то приятнее идти, когда железнодорожный путь проходил по степному участку и прекращалась морось. Можно было хотя бы видеть что-то и вширь, и вдаль. А когда по обеим сторонам от железнодорожной насыпи стеной высоченные деревья (в основном берёзы) без просветов между ними. Наверху небо с плотными, очень низко нависшими тучами, не скупящимися на противную водяную пыль. Впереди и позади только полотно «чугунки» на высокой насыпи с двумя теряющимися в тумане или за завесой водяной мороси колеями блестящих рельсов – тебя невольно охватывает какое-то тоскливое чувство одиночества, заброшенности, отрыва от реального мира, в котором есть и тепло, и уют. Где уж тут воспевать то, что

*А рельсы-то, как водится,
У горизонта сходятся...*

И шёл я по этой дороге не впервые. Первый раз одолел её двумя годами раньше – в 1940-м году, в мае, по окончании четвёртого класса, в котором учился в Юргамыше, я ходил в гости к бабушке в деревню Зырянку. По этой же насыпи прошёлся около трёх месяцев назад в Юргамыш, вскоре по приезде к бабушке в Зырянку. Тогда ещё я впервые валил лес с корня. Но в те разы было тепло и солнечно. И потому одна и та же дорога воспринималась в октябре совсем не так, как в мае и июле. И сравнение было, конечно, не в пользу последнего раза.

Километровые столбы, встречавшиеся куда реже, чем хотелось бы, напоминали мне о том, что я всё же постепенно «съедаю» расстояние своими задубевшими от не самых приятных внешних воздействий мальчишескими ногами. Не помню точно, о чём я тогда больше всего думал, но, кажется, не о реальном – война, родители (в частности – отец на фронте, а в г. Челябинске уже два месяца как растёт моя маленькая сестрёнка). Бабушки, школа. Не думал я и о том: поесть бы. А что толку думать об этом? Только себя травить! Всё равно никто не подаст или (лучше не так унижительно) не поделится. Вроде бы вспоминал друзей в г. Челябинске – и тех, что продолжали учиться в седьмом классе в той же школе, где с ними учился в шестом, и тех, кто пошёл на завод и уже работает. Например, мой сосед по дому, Коля Акимов, уже трудился на оборонном заводе модельщиком, делал модели, по которым из металла отливались ответственные детали (танков, как я узнал много позже). Я какое-то время переписывался с Колей, потом он перестал писать. Все пытался представить Колю в рабочей спецодежде. Но не мог представить, как он работает: я никогда такого ещё не видел. Почему-то вспомнилась родная мама, умершая за пять лет до этого. И не потому, что мне плохо жилось с новой мамой. А просто так, вспомнилось. А потом как бабушка Антонина Николаевна делала за два года до этого сбор всех своих детей (осталось трое из пяти) и какие вкусные блюда она готовила, а я помогал. А ещё вспоминалось, как мы иногда с отцом до войны садились на крылечке рубленой избы, которая ещё сохранилась от старого г. Челябинска и была предоставлена отцу в качестве служебной квартиры, и играли по очереди на различных музыкальных инструментах. У нас дома были мандолина, гитара и балалайка. И мы с отцом по очереди играли: то

отец на мандолине, а я на гитаре, то я на балалайке, отец на гитаре. И так, меняясь инструментами, мы играли порой по часу и более. Так, с ощущениями и впечатлениями, перемежавшимися воспоминаниями, под непрекращающимся надоедливым мелким дождиком я одолел-таки эти бесконечные двадцать километров.

Дойдя до будки путевого обходчика (он же сторож на переезде) на въезде в Юргамыш, я нашел, где присесть, вытер поочередно штанины свои вконец зачоченевшие, потерявшие всякую чувствительность и несколько разбитые дорогой разбухшие ноги, надел мокрые носки и с трудом натянул на них свои сырые ботинки. Но стоило сделать несколько десятков шагов, как ноги начали разогреваться, и идти стало легче. Эту неожиданную маленькую (и всё же) приятность я ощутил очень хорошо. Несмотря на покрытое расстояние! Тем более, что я теперь шёл уже не по шпалам, не по бровке, а по твёрдой наезженной дороге посёлка. В конце пути я уже, несмотря на усталость, почти бежал: боялся опоздать к открытию паспортного отдела милиции. Когда я туда подошёл, начальник милиции приём ещё не начал. Я занял очередь и осведомился, который час. И когда мне сказали, я готов был не поверить: я покрыл расстояние в двадцать километров за два часа и сорок пять минут! Подошла моя очередь. Вхожу в кабинет начальника районного отделения милиции и, буквально, натываюсь на его недоумённый взгляд:

– Мальчик, а ты зачем здесь?

Я начинаю объяснять и слышу:

– Нет, тебе я пропуск не выдам. Ты разве не знаешь, что сейчас творится? Отберут у тебя вещи, и что ты будешь делать?

Видя моё растерянное лицо (ведь вещи-то зимние мне очень нужны), начальник, смягчившись, спрашивает:

– А кто-нибудь здесь из родных у тебя есть?

– Есть.

– Кто?

– Бабушка.

– А как зовут?

– Антонина Николаевна.

– Фамилия?

– Яковлева.

И тут начальник милиции заулыбался и сказал:

– Пусть она сама ко мне придёт!

Я пошёл к бабушке. Она не ожидала моего прихода: я же ничего не сообщал! Да и как сообщишь? Телефона нет, письмо отправить и то непросто. А ведь расстояние-то всего двадцать километров. Я не знал, что бабушка моя, искусная швея-самоучка, обшивала в течение всей войны, а так же как и до и после неё жён всей местной «знати». Естественно, их мужья-начальники были о ней хорошо наслышаны. Так что вопрос получением пропуска для неё проблемой не был. Вскоре бабушка собралась, пошла в милицию, получила пропуск. И теперь вопрос стоял лишь в том, позволят ли ей уехать разные домашние заботы.

Дело в том, что вместе с бабушкой жила её дочь, сестра моей родной мамы с двумя дочками семи и трёх лет. Тётя Рая работала воспитательницей в том же

детском садике, в который ходили мои двоюродные сестрёнки.

Через день бабушка уехала, ещё через день вернулась и привезла мне зимнюю «справу». Приехав, она рассказала, как были рады челябинцы и её приезду, и возможности послать мне вещи. Да и вообще, мама, успевшая соскучиться обо мне, была рада узнать о своём приёмыше хоть что-то. Конечно, мы изредка писали друг другу, но ведь письмо – это не живое общение!

– Наговорились, наплакались, – рассказывала бабушка.

Видела она и первую мою семилетнюю родную сестрёнку, родную свою внучку Галину, которая ходила в садик, и вторую трёхмесячную от новой мамы, которую, по уговору родителей, назвали Верой. Рассказала бабушка и о том, что брат мой Слава лежит в больнице. Что ему (десятилетнему) делали операцию на ноге под наркозом. Что сестра мамина, тётя Аня, здорова и работает, а бабушка Варвара Ивановна помогает маме заниматься с её детьми. Так бабушка Антонина Николаевна, мать родной моей мамы, была принята второй моей мамой и её родными как своя. Она была очень этим тронута и, при случае, не уставала повторять, насколько хороша моя новая родня.

Пока бабушка ездила, я успел сфотографироваться (3x4) по случаю предстоящего четырнадцатилетия и получил фотографии.

А за несколько дней, прожитых в Юргамыше, я узнал, как живётся бабушке с дочерью и внучками. Отец моих двоюродных сестрёнок оставил их вскоре после рождения младшей. Но то, что тётя работала в садике и обе её дочери ходили туда, решало вопросы питания практически полностью. А бабушка неплохо зарабатывала, ловко работая на своей старенькой ножной швейной машине «Singer», которую она содержала в идеальном порядке. Рассказали мне, что у младшей, Вали, оказался хороший слух, и она даже пела дважды по местному радио. Один раз «Колокольчики мои...» на слова А.К. Толстого, во второй «Катюшу». Бабушка (а она у нас была с юморком), смеясь, передразнивала, как Валя пела:

*«Вихадила на белег Катюса,
На високи белеакатой»*

К большому удовольствию бабушки и тёти мы с сестрёнками несколько раз принимались петь вместе. А взрослые нам подтягивали. Ведь пение в семье Яковлевых всегда было одним из обязательных атрибутов быта.

А ещё старшая из двоюродных сестрёнок сообщила мне слова новой «Катюши», артиллерийской:

*Разлетались головы и туши,
Дрожь колотит немцев за рекой:
Это наша русская «Катюша»
Немчуре поёт заупокой.*

*В страхе немец прыгать в яму станет,
С головой зароется в сугроб,
Но и здесь мотив его достанет,
И станцует немец прямо в гроб.*

*Ты лети, лети, как говорится,
На кулички, к чёрту на обед,*

*И в аду таким же дохлым фрицам
От «Катюши» передай привет.*

*Пусть он знает девушку простую,
Пусть он слышит, как она поёт,
Пусть не лезет в землю он чужую
Здесь могилу он свою найдёт.*

Слов этих я ни до, ни все годы после войны, нигде никогда не слышал.

На следующий день мне сказали, что в деревню Зырянку идёт подвода, на которой я могу доехать с привезёнными вещами. На тряской телеге, по рытвинам и ухабам, ехал я от Юргамыша до Зырянки, прикидывая порой: а что лучше – топтать окоченевшими ногами по полотну железной дороги или трястись на телеге без рессор? И порой мне казалось, что идти было легче. Тем более, что по времени это получалось почти одинаково

А было это 8 октября 1942 года. Войдя в избу бабушки Анны Кузьминичны с тюком на плечах, я, поздоровавшись, сказал:

- А мне сегодня четырнадцать лет!
- Ну и что? – невозмутимо сказала тётя Лиза, сестра отца.
- Садись, ешь! – сказала бабушка.

И это, пожалуй, было в тот момент самым главным. Ведь есть-то хотелось почти постоянно. Таким мне запомнился один из дней моего рождения в войну.

Дети и в войну дети

Несмотря на серьёзные недетские заботы и обязанности деревенских подростков, выбирались часы, когда одни дела, большие и серьёзные, были сделаны, а другие ещё не начаты. И тогда наступало время вспомнить: мы же ещё дети (точнее, подростки, хотя и повзрослевшие) и нам, как всем нормальным детям своего возраста, хочется развлечься. Но чем?

Напомню: телевизора тогда не было. Точнее, о нём тогда даже в сказках ещё не упоминали. Кинотеатра нет, клуб закрыт, кинопередвижка приезжает очень редко. За целую зиму она приезжала всего раза три-четыре.

И тогда началась обычна детская самодеятельность. Когда-то до войны я видел в книжках для желающих мастерить выкройку пропеллера – воздушного винта для самолёта с поршневым мотором. Взял старую консервную банку, отсоединил доньшки, выправил обечайку, нанёс на неё контур пропеллера (воздушного винта) в виде вытянутой восьмёрки, вырезал его ножницами, немного отогнул кромки, пробил две дырочки на десять сантиметров по обе стороны от центра под патефонные иголки. Нашёл пустую катушку для ниток и вбил патефонные иголки в один из торцов катушки. А далее – нашёл шпагат длиной около семидесяти сантиметров, намотал его на катушку, надел катушку на палочку, взял палочку, подпёр катушку пальцем, насадил пропеллер дырочками на патефонные иголки, поднял руку с катушкой и резко дёрнул верёвочку. Пропеллер, получив энергичный импульс к вращению, легко взмыл вверх и летел метров за тридцать-сорок. И так один раз, другой. Моментально выстроилась очередь желающих запустить этот пропеллер. С упоением, по многу раз, поочерёдно, одни запускали пропеллер, другие бегали за ним.

День, другой. Надёргались. Набегались. Надоело. Тогда был освоен

«чижик». Заострённая с обоих концов палочка длиной около десяти сантиметров и диаметром два-два с половиной сантиметра («чижик») устанавливается в начерченный на земле квадрат 50 x 50 см. По концу чижики ударяют специально сделанной лаптической, и после подскока «чижики» стараются ударить по нему как можно сильнее. Стоящие в поле стремятся поймать чижа и забросить его в квадрат. Игрок, выбивший чижа, старается сбить его, чтобы он не попал в квадрат. Ну и ещё целый ряд условий. Кроме того, была «муха». Это палочка длиной семь-восемь сантиметров с выступающим как ступенька, уступом, которую устанавливают на макушке кола высотой сорок-пятьдесят сантиметров, крепко вбитого в землю в центре круга диаметром около шестидесяти сантиметров. Одни бьют по колу, стараясь, чтобы «муха» улетела как можно дальше, другие стараются поймать эту муху и забросить в круг. Естественно, у этих игр есть свои правила, приводить которые здесь было бы излишне (да и забыл я их основательно).

Мы все знали, что такое лапта, но играть в неё не могли: с мячиками и до войны-то даже в городе была напряжёнка.

Потом в одном дворе (около бывшей конторы ГОРТОПа, ставшей просто жилым домом для семьи её бывшего директора) было вырыто вертикально бревно высотой около метра. В торец этого бревна был забит штырь. В другом бревне, длиной около четырех-пяти метров, посередине сделано отверстие. Длинное бревно отверстием надевалось на штырь – вот вам и карусель! А далее по очереди: одна пара садилась по концам поперечного бревна (фактически, ложились на бревно, плотно обхватив его руками и ногами), другая, бегая по кругу вокруг столба, толкала это бревно. Недаром говорят: голь на выдумки хитра! Но это летом, когда погода позволяла. А какие же развлечения были в небольшой деревне в осеннее ненастье или в зимние дни?

Песни памяти и надежды

Все мы в одночасье ставшие старшими в деревне подростки, несмотря на голод, холод, плохую одежонку, боль и тревогу за своих близких, ушедших бить лютого врага, всё же оставались детьми. Повзрослевшими и обретшими до времени недетскую зрелость и мудрость, ощутившими, что такое нести ответственность, и не только за себя, на ходу обучавшимся умению смотреть и думать наперёд. Но возраст требовал своего. И вот мы, мальчишки и девчонки, дети войны, в глубоком тылу, сполна постиженные бытовыми лишениями и постоянным ожиданием ещё больших трудностей, хорошо ощутившие на себе, что такое война во всех её проявлениях (кроме обстрелов и бомбёжек), собирались для общения. Так мы были приучены всей своей предыдущей жизнью: переживать трудности совместно. Этого требовали наши души, тоскующие по теплу и добру. Напомню, что речь идёт о событиях, которые происходили зимой 1942-1943 года, когда немцы всей мощью своей военной машины навалились на г. Сталинград, когда над всей страной нависла самая серьёзная опасность за всё время, что прошло со времен гражданской войны. И ещё одно немаловажное обстоятельство: все дети моего поколения (а далее молодёжь, потом, по мере взросления, зрелые люди) пели. Пели в минуты досуга. Пели в компаниях, за столом или просто оказавшись группой (часто

совершенно незнакомых, впервые увидевших друг друга) людей. Это, вероятно, шло от детства. Ведь в большинстве семей (а может во всех?) во времена моего детства пели. И не только по случаю застолья. Песня (особенно у женщин) издревле могла разбивать монотонность совместной длительной однообразной работы. Песни сопровождали все моменты жизни. Колыбельные и свадебные, любовные и патетические, по торжественным дням и в трудную минуту – любили тогда песню. И русскую, раздольную и протяжную, как русские равнины и реки, буйную, как половодье. Песня и ритм задавала, и монотонность скрашивала. Теперь так не поют. Хуже того, молодёжь, в массе своей не только не умеет петь, но не испытывает потребности в пении. Насколько и почему это плохо – готов доказывать, но это не входит в цель этого моего повествования. Да и отняло бы много времени.

Итак, поздняя осень 1942 года. Помню, сижу я под вечер около окна в бабушкиной избе, делаю уроки. И вдруг слышу лёгкий стук в стекло. Вижу лицо товарища, который машет рукой, вызывая на улицу. Машу ему рукой, чтобы уходил, так как бабушка обеспокоено спрашивает:

– Кто там? – и ко мне:

– А ты уроки сделал?

– Сделал! – отвечаю, поспешно дочитывая страницу учебника.

– Смотри, отцу напишу! – это была излюбленная угроза бабушки в случаях, когда ей казалось, что я что-то делаю не так. Но вопрос этот задавался исключительно в целях профилактики, так как бабушка знала, что я круглый отличник, учусь с удовольствием и в учёбе подгонять меня не надо.

– Да сделал! – повторяю я, складывая книги и тетради. И добавляю полувопросительно:

– Так я пойду?

– Ну ладно, иди! – с видимой неохотой отпускает она меня.

Быстро одеваюсь и бегу к избе, где мы на этот раз собираемся. Там уже пришли несколько человек. Смеются, дурачатся – возраст! И это несмотря на тяжёлую работу, которую каждый из них выполнял днём. Первым делом я беру в руки балалайку, которую кто-то протянул мне. Дело в том, что в нашем Чинеевском посёлке я был единственным, кто умел настраивать балалайку и играть на ней. Собственно, была это по большому счёту не игра, как сольное исполнение какого-то отдельного музыкального произведения, а аккомпанемент к частушкам, задающий тональность пению. Настроил, начинаю наигрывать. Кто-то запел первую частушку. По её окончании вступает другой. И пошло, пошло. Частушки сыплются как из рога изобилия. У меня, как и у всех присутствовавших там, не было (и не могло быть в то время) часов. Но, по ощущениям, это продолжалось не менее получаса. Сказать по правде, на первых посиделках моя правая рука, ударявшая по струнам, начинала неметь с непривычки столь длительного выполнения непривычной работы. Потом ничего, по привычке. И до сих пор ругаю себя за то, что не удосужился тогда записать хотя бы часть частушек, этих блёстков народной мудрости, наблюдательности, иронии и задора. А их было десятки, если не сотни. И самые разные. От задорных, шуточных и лирических и до отражающих суровую действительность. Так, ещё со времён довоенных запомнилась мне услышанная в деревне Зырянке в 1939 году частушка, смысл которой я осознал уже в зрелом

возрасте:

*Эх, да застукали вагончики,
Пошли на Соловки. Да!
Зарыдали отцы-матери,
Поехали сынки.*

За частушками шли песни советские. Почти обязательной была «Катюша», пели «Легко на сердце от песни весёлой», «По военной дороге», «По долинам и по взгорьям...», «Спят курганы тёмные», «Броня крепка», «Три танкиста», «Распрягите, хлопцы, коней», что-то из русских народных песен. Потом откуда-то прилетели, и сразу стали любимыми, сначала «Вечер на рейде», потом «Песня о Москве», которая всегда исполнялась с большим воодушевлением. В ней мы с особенным энтузиазмом исполняли последний куплет:

*Час придёт, мы прогоним все тучи,
Вновь родная Москва расцветёт,
Я вернусь в этот город могучий,
Где любимый наш Сталин живёт.
Вновь увижу знакомые лица,
Расскажу, как о ней тосковал.
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва.*

Не знали мы тогда, что шестьдесят лет спустя Ю.М. Лужков, который в войну мальчишкой тоже с воодушевлением (тем более москвич!) пел эту песню полностью, включая и последний куплет, назовёт эту песню Дунаевского Гимном Москвы. Но, почему-то без последнего куплета. (А как насчёт «из песни слова не выкинешь»?)

Среди песен, которые мы пели, была одна с особым настроением. Пели мы её не каждый раз, но действовала она на нас, вероятно, как истовая молитва для истинно верующего в моменты наивысшей потребности облегчить душу от тяжести и скверны. Сам я, воспитанный в духе атеизма, никогда не следовал канонам веры и не ощущал священного трепета перед святынями, дорогими верующим. Правда, я никогда не посмеивался над верующими и ни разу не видел этого со стороны остальных моих товарищей. Но подсознательно все мы при исполнении этой песни проникались ощущением какого-то трепета. В какой-то момент по ходу наших посиделок кто-нибудь говорил:

– Ананька, давай эту...

У Анания Шумского был абсолютный слух. Я это готов отстаивать перед кем угодно, ибо хорошо понимаю, что это такое. И при этом – замечательный дискант. Чистый, звонкий. Он легко брал верхние ноты. И всегда, когда мы пели, все мелодии вёл первым голосом. И вот начинал он как-то особенно проникновенно и раздумчиво, как бы даже робко поначалу:

Собирались козаченьки...

Вторую строчку запева, тоже первым голосом, поддерживал ещё кто-то один (то есть получался дуэт в унисон):

Собирались на заре, – небольшая, четверть такта, пауза-вдох и пошла втора (иногда в несколько голосов):

*Думу думали большую
На колхозном на дворе.*

Эти две строчки повторялись дважды. В повторе участвовали все. А далее снова Ананька (а все сидят, слушают и в нужный момент тоже включаются в процесс пения или «вступают», как говорят певцы, подхватывают слова песни с каким-то выражением отрешённости от всего того, что их окружает, живут жизнью, проходящей внутри песни):

Если б нам сейчас, ребята...(и снова поддерживает второй певец в унисон):

В гости Сталина позвать...— слова выговариваются чётко, ритм выдерживается безукоризненно, а души вкладывается столько, сколько её не всегда бывает даже в диалоге с горячо любимой мамой. И снова втора:

Чтобы Сталину родному

Все богатства показать.

И звучат слова эти в тёмной, едва протопленной избе, чуть освещённой до предела увёрнутой лампой, и поют (хорошо поют!) никогда не учившиеся музыке очень голодные подростки обоего пола. И поют эти плохо одетые и не снимающие верхней одежды (холодно же!) подростки от всей души, вкладывая всю искренность и веру в слова, которые они произносят. И никому в голову не приходит разяще контрастная, применительно к условиям, в которых это поётся, несопоставимость слов «все богатства» с тем убожеством, которое окружает поющих. Ведь в избе кроме печи, полатей, голого, ничем не накрытого деревянного стола, лавки, идущей вдоль стены у стола да пары табуреток нет ничего, в том числе даже половиков, почти неизменного атрибута всех деревенских изб. Но слова «все богатства», идущие, казалось бы, из другого мира, воспринимаются как явь. А дальше:

Показать бы, похвалиться

Нашей хваткой боевой... – и за этим, со всей силой искренней веры в те слова, что произносят губы при полном понимании невозможности выполнения смысла этих слов, негромко, но со всей силой искреннего желания убедить, звучит:

Приезжай, товарищ Сталин,

Приезжай, отец родной.

Песня звучала как молитва, как вожделенный призыв к некоему лицу ли, духу ли, ещё ли к кому, кто придёт, увидит, может, спросит, но обязательно поможет. И даже, если и не поможет, то хотя бы ободрит. И тогда каждому в отдельности и всем вместе, конечно же, станет хотя бы чуть-чуть полегче. И вот песня закончена, последний звук растаял. Повисала пауза. Но она не угнетает. Это было как бы продолжение песни, когда каждый внутренне ещё живёт пережитым и прочувствованным при её исполнении. Как правило, песня эта была завершающей. А что можно было бы спеть после неё?

И уже много лет спустя я не раз бывал на отличных концертах классической музыки, в частности, слушал замечательных вокалистов и инструментальные концерты с оркестром (пианистов, виолончелистов, скрипачей). И был я не раз свидетелем того, как истинные любители музыки, знатоки и ценители, полные восторга от только что услышанного, дождавшись, когда растает последний звук, ещё мгновение сидят, молча и неподвижно. И только потом зал взрывается бурей восторга и искренней благодарности к тому (или тем), кто только что до всей глубины человеческого существа потряс их

своим исполнением.

Не знали тогда мы, зауральские пацаны, что «козаченьки» в массе своей лютой ненавистью ненавидели «отца родного», и что песня эта никак не отражала их отношения к нему. Но дело был не в словах. Дух веры и надежды витал при исполнении этой песни над всеми нами, подростками, ушибленными войной. И когда по прошествии десятков лет я, рассказывая кому-нибудь об этом эпизоде, пытаюсь пропеть слова этой песни, голос мой начинает предательски дрожать, а на глаза наворачиваются слёзы. Так с годами подспудно осмыслил я потаенный смысл и выстраданную житейскую мудрость некрасовских слов:

*Эх, товарищ, и ты, верно, горе видал,
Если плачешь от песни весёлой...*

Так мы пели, спасая души свои, и что важно не в одиночку, а сообща в это тяжёлое время. Но только песни, даже любимые, в конце концов, приедаются. Нужно было ещё чем-то заполнять время.

С раннего детства был я большим книгочеем. Читал запоем всё подряд – беллетристику и фантастику (правда, тогда книг этого жанра было немного), отечественных авторов и зарубежных, классиков и менее маститых писателей. В основном прозу. И много сказок разных народов. В те времена они широко издавались. Так что в запасниках моей памяти были не только русские, но и армянские, казахские, таджикские (и ещё каких-то народов) сказки. Пересказывать «Таинственный остров», «Квентина Дорварда», «Отверженных» или что-либо из Горького или Шекспира, даже из Э. Сетона-Томпсона, я посчитал не очень-то уместным в том обществе сверстников. И начал вспоминать прочитанные сказки. А вспомнив, начал рассказывать. Моим друзьям это пришлось по вкусу. И нередко после какого-то количества пропетых песен кто-нибудь из ребят говорил:

– Аркаш, давай сказку! И я «давал».

Некоторое время спустя меня начали просить не просто рассказать что-нибудь, а заказывали вполне определённую, из ранее рассказанных сказок. Ясно, что я не всегда точно воспроизводил прочитанный текст, ведь сказки я читал сравнительно давно, поэтому подчас приходилось фантазировать, пополняя куски текста, выпавшие из памяти. Поэтому при повторах порой случались и такие случаи. Кто-то из моих внимательных слушателей вдруг говорил:

– А ты в прошлый раз не так рассказывал!

Мои попытки оправдаться давностью прочтения не находили понимания. От меня требовалось точное воспроизведение ранее озвученного текста. Так что со временем с пересказом сказок пришлось покончить.

Сиротский суп

Всё, что давало государство матерям (жёнам или вдовам фронтовиков) в качестве материальной поддержки, это пятьдесят рублей в месяц на каждого ребёнка. Никаких других видов материальной помощи матерям на детей не предусматривалось. Но деньги в деревне практически ничего не значили. Кроме как за хлеб или соль было не за что платить. Ведь никаких продуктов или товаров в деревне не продавалось. Работавший до войны магазин сельпо (магазин сельского потребительского общества) с началом войны прекратил

свою деятельность. Налогов за пользование землёй и за недвижимость - владение домом или надворными постройками – тогда не было. И за электричество, и за радио тоже не платили: их просто не было в деревне. Никакого рынка, где можно было бы что-то продать или купить, тоже не было. Мама моя, человек честный и порядочный, поначалу посылала из города бабушке в деревню те самые пятьдесят рублей, что получала на меня. Но месяца через два бабушка написала ей, что в городе деньги нужней и она просит больше ей не посылать. Деревня жила тем, что было у каждого на его подворье. Был огород, который позволял, по мере сил и возможностей их владельцев, вырастить что-то из овощей. Лето короткое, тёплых дней немного, заморозки могли быть и в начале июня (помню, как пришлось обильно поливать картошку, ростки которой были побиты сильным заморозком пятого июня). А Ильин день (2 августа) чётко подводил итог лету. Холодало довольно резко и вскоре после этого начинались заморозки. Моя бабушка под огурцы делала специальную грядку из навоза. В лунки, сделанные в навозной гряде, насыпалась плодородная земля, в которую высаживались семена огурцов. Потом эти лунки накрывались на ночь чем-то сверху, дабы не замёрзло. Период сбора огурцов был недолог. Ещё сложнее было с помидорами. Они никогда не вызревали на кусту. Помню, как их, зелёные, насыпали в валенки, где они подолгу дозревали. Так что основной огородной продукцией были картошка, капуста, свёкла, морковь. А также горох, бобы. Бабушка выращивала ещё табак, который потом, после сбора и обработки, посылала в посылках сыновьям (моему отцу, дяде Володе и дяде Толе) в армию. Отец был под Синявиным, дядя Толя под Териоки (нынче Сестрорецк), дядя Володя на Дальнем Востоке готовился к борьбе с японцами. И здесь очень ощущались различные возможности владельцев огородов: те, у кого была дома скотина, главным образом, корова, имели возможность удобрить землю и получали более высокий урожай, чем те, у кого этой живности не было. И грядку под огурцы было не из чего сделать. Так что само по себе наличие огорода не определяло в полной мере возможности получения высокого урожая. А о компосте и минеральных удобрениях для огорода тогда не имели понятия

Снова вернусь к тому, как жилось мне, городскому мальчишке, приехавшему в деревню на «богатые хлеба».

Наш директор, мудрый Пётр Алексеевич, собрав однажды родительское собрание в канун зимы, сказал, примерно, следующее:

– У двадцати трех наших учеников отцы на фронте. У многих совсем нечего есть кроме трёх кило муки на человека. Я предлагаю организовать в школе обед для детей фронтовиков. Пускай те, кто могут, принесут в школу то, что могут: картошку, капусту, свёклу, морковь – всё, что можно из овощей. Отзывчив русский народ на чужую беду. Принесли селяне, кто что мог.

Был составлен список учеников, кому полагалось получать ежедневно тарелку супа (щей? похлёбки?), сваренного из этих добровольных пожертвований. Это были в самом прямом смысле пустые щи: никакой заправки не предусматривалось. Ни мяса, ни хотя бы чего-то поджаренного для заправки. Только сваренные овощи. В общем, щи сиротские, во всех смыслах – и по назначению, и по содержанию. В списке этих двадцати трех значился и я. Я сказал бабушке об этой инициативе директора. Она сказала: положено – ходи.

Помню, как я впервые пришёл на кухню, точнее, в рабочую комнатку

технички школы. На плите стоял большой чугунок, в котором варились эти сиротские щи. Запах варёных овощей плотно насыщал небольшую комнатку. Техничка (она же уборщица в школе, она же истопник, она же, по совместительству, повариха) показала мне место за столом, который стоял в этой комнатке. Я сел, достал свои сто граммов хлеба, положил на стол. Техничка взяла тарелку, открыла чугунок, в котором варились щи, взяла большой черпак и налила щи в тарелку. Так вот подпитывали тех, чьи отцы были на фронте.

И до сих пор вспоминаю я постыдный случай, произошедший со мной во время поглощения этого дара не очень-то богатых односельчан моей бабушки. Сын директора, пятиклассник Олег, был очень подвижный и озорной мальчишка. В школе он никого не боялся (ещё бы, отец директор!). Вёл себя Олег независимо и, порой, слишком самоуверенно. Не знаю, как вёл он себя в классе, как учился – ведь между нами было два года разницы в возрасте. Сближение наше произошло во время моих посещений их семьи, куда я несколько раз приходил по приглашению его отца. Мы, можно сказать, сдружились с Олегом, хотя общаться доводилось не часто. Да и разница в возрасте всё же сказывалась. И вот, сижу я как-то за столом в каморке технички и дохлёбываю свою тарелку со щами (без убоинки, конечно). Техничка куда-то вышла. И вдруг дверь распахивается и в комнатку вбегает Олег. Как и зачем его сюда занесло – не знаю, но только я как-то засмутился и заспешил, тем более, что кусочек хлеба уже был съеден и я просто дохлёбывал бульон. Олег посмотрел на меня, на тарелку и вдруг говорит:

– Хочешь ещё?

Я в замешательстве посмотрел на него, не зная, что ответить. Конечно же, я хотел ещё. Но как я мог сказать это, когда в чугуночке (а чугунок был большой) было сварено как раз двадцать три порции. И сказать: «Нет!» – значит, соврать. И пока я мешкал, он взял поварёшку и мою тарелку, зачерпнул из чугуна, налил один черпак и поставил тарелку передо мной. Взяв ложку, я ещё раздумывал: есть или не есть, как вошла техничка. Мигом поняв, что произошло, она закричала (на меня, конечно! – не будет же она кричать на сына директора):

– Ты что же, бессовестный, делаешь! У кого воруешь? Я Петру Алексеичу скажу! – и тут же выбежала из своей каморки. Конечно же, директор вызвал меня для объяснений. В его кабинет я входил с тяжёлым сердцем. Я не знал, что (без вины виноватый) могу и буду говорить в своё оправдание.

И когда я услышал: «Как тебе не стыдно! От тебя я такого не ожидал», – слёзы навернулись на глаза от бессилия и невозможности защитить себя. Мальчишеская солидарность не позволяла мне назвать истинного виновника происшедшего. Я не хотел быть предателем и выдавать имя Олега. Но и виноватым я себя не чувствовал! Разве только за некоторое замешательство, которое помешало мне вовремя энергично остановить его. Похоже, Пётр Алексеевич понял моё состояние, да и техничка, наверняка, сказала о том, что с поварёшкой в руке был застигнут его сын. Поэтому он, помолчав, и не требуя от меня никаких объяснений, сказал:

– Ну ладно, иди...

Но когда я, выходя, пробурчал:

– Я больше не приду, – он взорвался:

– Как это, не приду! Люди последним делились, а он не приду! Не смей

такое говорить! Неужели и тебе ещё это объяснять надо?

Я пришёл на следующий день. И ходил съедать эту тарелку сиротского супа до тех пор, пока не кончились продукты, принесённые сердобольными селянами.

Но вкус этого супа, его запах и чувства, которые я испытал при его потреблении, живут во мне до сих пор. Как же горек он, сиротский суп!

И нередко вспоминал я, насколько больше хлеба доводилось мне есть в городе.

И как же меняется психология человека с изменением его возможностей что-то приобрести. Но прежде всего с изменением возможности поесть до сыта.

Пётр Алексеевич Амосов

Не могу не рассказать отдельно и поподробнее про нашего директора школы. Человек среднего роста, лет пятидесяти, плотного телосложения, коренастый, с крупными чертами лица, энергичный и порывистый, он на первых порах производил впечатление сурового, даже угрюмого человека. Но стоило пообщаться с ним, понаблюдать поближе, как становилось ясным: насколько добрым и отзывчивым он был. По слухам, в довоенной жизни работал заместителем наркома просвещения Молдавской ССР. В его ведении в деревне Зырянке была не только школа. При школе существовал ещё интернат детей, эвакуированных из г. Москвы. Москвичей в возрастном диапазоне четвёртый-седьмой классы было около семидесяти человек. Уровень подготовки, а с этим и уровень успехов в учении, приезжих и местных заметно различался. И в классе москвичи сидели отдельной группой, не стремясь смешиваться с деревенскими. Справедливости ради, я должен сказать сразу, что никаких серьёзных разногласий или противостояния приезжих и коренных жителей за весь год моего обучения в той школе не было. Пётр Алексеевич, учитель русского языка и литературы, предмет свой знал прекрасно. При объяснении материала по программе он всегда выходил далеко за рамки учебников. Его объяснения правил русского языка, правописания и синтаксиса были интересными и нередко сопровождались шутками. Заметив, что я большой любитель книги, он предложил приходить к нему домой и брать у него книги для чтения. Я помню, как я глотал что-то из классиков, «Айвенго» Вальтера Скотта, сборник «Юмор», составленный из произведений Чехова. И когда через некоторое время я вспоминал об этом, для меня так и осталось загадкой: как он сумел привезти столько книг в эвакуацию? Не исключаю, что какая-то часть книг «приехала» с интернатом московских школьников. Он прибыл в Зырянку с женой, Сусанной Георгиевной, учительницей русского языка, и сыном Олегом. Олег был пятиклассником. Это был подвижный, очень развитой и несколько разбалованный ребёнок. Мне с ним не было скучно, когда я приходил к ним в гости. Пётр Алексеевич оставлял нас вдвоём, и мы болтали на свои мальчишеские темы. Самое трудное для меня было, когда они садились обедать и обязательно усаживали меня за стол. Я очень стеснялся. Во-первых, я почти постоянно хотел есть и боялся, что это заметят. Во-вторых, я понимал, что они получают продукты по норме (где и какой – до сих пор не знаю), значит, я объедаю их. Ну и то, что за столом директор и учительница, изрядно сковывало. Они же со своей стороны держались (именно не старались держаться, а держались) очень

просто, естественно, непринуждённо разговаривая между собой и исподволь вовлекая меня в разговор. Тем самым они подбодряли меня и помогали избавиться от проклятушего комплекса неполноценности. Но эти мои встречи с директором у него в доме никоим образом не влияли на наши взаимоотношения в школе. Там я был ученик, он – учитель, строгий и требовательный как и ко всем. Но иногда мне казалось, что меня он как бы старался немного приподнять над другими на уровень моих способностей. Скажем, задавал мне вопросы по материалам, выходящим за пределы школьного учебника, и оценивал ответы на них с такой же требовательностью как и по основному материалу. Это заставляло меня постоянно напрягать все мои способности. До сих пор я благодарен ему за это.

Мне трудно судить о Петре Алексеевиче как о хозяйственнике. Помню лишь, что в школе никогда не было холодно, печи всегда были протоплены, полы вовремя помыты или протёрты, классы проветрены, а стёкла окон в классах своевременно промыты. При этом Пётр Алексеевич, человек с высоким интеллектом и культурой, понимал, что для людей, живущих трудной жизнью военного времени, необходимо ещё что-то, что отвлекало бы жителей Зырянки хотя бы на несколько часов от тяжёлой и безрадостной действительности.

И он нашёл выход. Правда, ненадолго, но всё же...

Однажды он сказал на уроке:

– Приглашайте своих родных, родителей, других родственников и знакомых (назвал дату и время). Устроим театр. Не знал я в ту пору, что есть такой театр одного актёра. В назначенный час (разумеется, вечером, чтобы занятые на работе люди также смогли присутствовать) в классе, где был назначен сбор, стали собираться зрители. Я пришёл перед самым началом и увидел, что класс почти полон. Здесь были и ученики старших классов, и их родственники из деревни. Светильником служила керосиновая лампа, фитиль которой был до предела увёрнут: экономия керосина. Так что можно было видеть фигуры людей, угадывать лица, и не более. Но такие условия никого не смущали: обстановка и причины всем ясны.

Пётр Алексеевич встал в пространство между доской и учительским столом и негромким голосом, как-то по-будничному, сказал:

– Софокл. «Царь Эдип».

И далее пошёл неторопливый рассказ о том, как у царя родился сын, которому оракул предрёк, что он убьёт отца, женится на своей матери и займёт на престоле место отца. Услышав такое пророчество, царь повелел рабу убить младенца. Но раб младенца пожалел. Чтец быстро завладел вниманием присутствующих. Здесь всё. И занимательность повествования. И дар рассказчика. И потребность людей, истосковавшихся по свежему слову, отличному от тех, что они слышат повседневно. Здесь и сказка, уносящая их в другой мир, где нет похоронок, беспросветной нужды и существования впроголодь. Здесь и подспудное стремление каждого к высокому, светлому, достижимому в то время лишь в мечтах. И герои древней Эллады вдруг становились очень близкими, почти родными, и беспокойство за них становилось беспокойством за близкого, давно знакомого человека.

А кудесник, который вызывал к жизни все эти образы и переживания, живо перемещался на небольшом пространстве между учительским столом и

доской, то вкрадчиво и плавно, то резко и энергично, то понижая голос почти до шепота, то возвышая его почти до крика. Он безраздельно владел аудиторией, и она ответной волной накрывала его своим вниманием, своей неутолённой жадой слушать ещё и ещё. И школьный класс, плохо освещённый и не очень тёплый, раздвигался, вбирая в себя и древние Фивы, и царские покои, и неведомых людей в тогах, ставшими почти близкими и почти современниками.

В классе – ни кашля, ни сопения, ни (даже) громкого вздоха. Все там, в Фивах. Наступила тишина. Повествование закончено. Зрители не сразу приходят в себя, возвращаясь в реальную действительность. И тот, кто только что властвовал над мыслями и воображением собравшихся, ещё разгорячённый видениями, которые он сам и создал, и которыми также увлёкся вместе со всеми остальными, вдруг, как бы остановившись на быстром бегу, тоже тихо возвращается в суровую явь. Громко отхлопав, зрители не сразу поднимаются с парт и не спеша выходят из класса.

В следующий раз Пётр Алексеевич говорил об аргонавтах, об Ясоне и Медее, об испепеляющей любви и о неутолённой яростной ревности, о тех, кто их окружал и о том, что они делали. И ещё было что-то (не помню) в его исполнении. Народ уже полностью заполнил класс, а на третий – многие слушали, затаив дыхание, стоя в коридоре. Класс не мог вместить всех желающих. И не каждый исполнитель мог бы похвалиться таким благоговейным вниманием аудитории.

Однажды в деревне появилось объявление: встреча с поэтом. За неимением другого помещения (сельский клуб за отсутствием дров, клубного работника и зрителей был закрыт на замок) её решили провести в школе. Зрители собрались в одном из классов, освещённом несколько ярче, чем просто для собрания. Люди не только сидели, но и стояли в проходах. Ведь никто из присутствующих ещё не видел живого поэта. Поэт, как он себя отрекомендовал, как-то не произвёл особого впечатления. Невысокий, щупловатый, с короткой чёлочкой и в изрядно поношенном костюме. Он прочёл несколько стихотворений (не знаю уж, своих или заимствованных), на злободневные темы – о героях, красноармейцах и краснофлотцах, о девушках и матерях, ожидающих своих детей или суженых с победой. Были и другие стихи в духе времени, так популярные и ожидаемые. А потом вдруг предложил называть ему парные рифмы, например. «винтовка – сноровка», «боец – молодец» и т.п., используя которые он тут же, на наших глазах, сочинял стихотворение. Селяне не очень-то сильны были в стихосложении, но с горем пополам «выдали» первую партию, пар пятнадцать. Несколько минут, и... На глазах изумлённых, а главное, неискушённых зрителей, рождался некий рифмованный опус, отвечающий ожиданиям и настроениям большинства зрителей. Зал был в восторге. А приезжий продолжал собирать рифмы и «мастерить» из них стихи. Когда полностью покорённые ловким стихотворцем зрители расходились, слышалось восхищённое: «Молодец!», «Здорово!» и т.п. И только на другой день, на уроке литературы Алексей Петрович, не скрывая иронии, так откомментировал вчерашнее выступление кумира публики:

– Так это ведь старая французская игра, называется «буриме», и играли в неё молодые люди ещё до революции, собираясь для вечернего времяпровождения.

Ореол гения с заезжего рифмача в глазах многих сразу спал, а моя копилка жизненных знаний о способах околпачивания простодушных людей пополнилась ещё одним примером.

Запомнился мне П.А. Амосов ещё и другим, по-настоящему строгим и неприступным.

Как я уже упоминал, школа, в которой я учился, была школой-семилеткой. По её окончании выпускник получал свидетельство. А затем он мог продолжить обучение в восьмом и следующих классах средней школы для получения среднего образования и поступления в институт. Или поступить в какое-либо среднее специальное учебное заведение. Я с раннего детства готовился в лётчики, поэтому намеревался после седьмого класса поступать в тринадцатую киевскую спецшколу ВВС, которая была эвакуирована в г. Свердловск (ныне г. Екатеринбург). Так случилось, что через несколько дней после окончания школы, мы получили открытку от отца. И открытка эта пришла не с фронта, а из г. Челябинска. Месяца три до этого мы ждали хоть какую-то весточку от него. Бабушка вся извелась. Да и я тоже начал беспокоиться: никаких вестей не было. И вдруг... Как я узнал потом, управление Южно-Уральской железной дороги отозвало отца с фронта для работы по профессии. После третьего запроса командование фронтом приняло решение отпустить специалиста, так нужного для работы в тылу. Получив открытку от отца, я заторопился домой: теперь было уже две причины торопиться с отъездом. И в радостном предвкушении отъезда как-то забыл о собрании, которое было проведено с выпускниками сразу после окончания экзаменов. А на нём директор сказал:

– Школе на будущую зиму нужны дрова. В лесу отведён участок для заготовки дров. Но у школы нет ни рабочих, чтобы провести заготовку дров, ни средств, чтобы нанять таких рабочих. Вы старшие в школе. Поэтому я и обращаюсь к вам: помогите заготовить дрова. Мы подсчитали, что каждый выпускник должен заготовить три кубометра дров.

Последняя фраза из его обращения прозвучала твёрдо и довольно неприятно:

– Кто не напилит дров, тот не получит свидетельство.

Я как-то не очень серьёзно воспринял это предупреждение и почти забыл о нём, когда отправился к директору за свидетельством – официальным документом об окончании седьмого класса. Тем более, что я был небольшого роста (вскоре выяснилось: сто сорок один сантиметр) и всегда в строю сверстников занимал последнее место на левом фланге. Но когда я пришёл к Петру Алексеевичу и спросил о свидетельстве, он, хмуро посмотрев на меня, спросил:

– А как же дрова? Когда ты их будешь заготовливать?

Я начал лепетать что-то жалостное, даже слеза навернулась (так мне не терпелось попасть домой, встретиться с отцом, да и в спецшколу боялся опоздать).

– Стыдись! – негромко, но очень жёстко сказал директор, хлопнув ладонью по столу. – Я никогда не думал, что ещё и тебя мне нужно будет уговаривать!

После минутного молчания, остывая, он сказал мне:

– Найди Царькова, ему тоже нужно куда-то ехать. Договорись, когда и как

вы пойдёте на заготовку.

Иван Царьков, мой одноклассник, был сыном председателя колхоза и он, несмотря на папино положение, тоже не был освобождён от этой так нужной школе трудповинности. На следующий день мы встретились с ним на лесосеке. Сотрудник лесничества, видя, какие работнички перед ним (пацаны, спорить не будут!) отвёл нам участок, где был один «тонкомер». Все, кто хоть когда-нибудь пилил дрова в лесу, хорошо знают: нет более непродуктивной работы, чем заготавливать дрова в мелколесье. Уж истинно по Маяковскому:

В год работа,

В грамм труды.

Валишь деревья, обрубаешь сучья, распиливаешь ствол на двухметровки, а когда складываешь результаты в кладь, то прирост объёма почти не заметен. Да к тому же ещё все обрубленные сучья с ветками нужно сложить в кучу (по возможности аккуратно) и окопать. А был конец июня. Стояла солнечная безветренная погода. Жара была градусов под тридцать. Сушь. При валке деревьев пыль забивает рот и нос. Пить нечего, вода, взятая с собой в бутылке, была давно выпита. Болотца поблизости не было, да мы и поостереглись бы пить ту воду. Ну а еда, те самые сто граммов хлеба, соль в бумажке да пять картофелин, исчезла быстро. Мы с Иваном провозились три дня. И вот две клады по три кубометра (пришлось поспорить, доказывая лесничему, что каждая кладь – это всё же действительно три кубометра) сданы сотруднику лесничества. Мы идём из лесу по изнуряющей жаре. Пить хочется неимоверно. И, о счастье, на самом краю деревни колодец. И даже с прицепленной деревянной бадьёй! (Ведь иногда на колодцах бывает просто цепь, к которой нужно прицепить своё ведро). Глубина колодца – метров восемь-десять, внизу, на стенках сруба, смёрзшийся, не растаявший с зимы снег. Опускаем бадью, с трудом поднимаем (бадья-то деревянная, набухшая водой) и начинаем пить. Вода холоднейшая. Ломит зубы, сводит скулы. А мы всё пьём и пьём. По очереди, с трудом отрываясь от бадьи, чтобы передохнуть. Самое удивительное в этой истории было то, что ни один из нас не застудил горло.

Итак, дрова напилены. Я вновь иду к директору за свидетельством, на этот раз с бумажкой, в которой указано, что три кубометра дров мной заготовлены. Отложив бумажку в сторону, Пётр Алексеевич взял лист бумаги и что-то написал своим неповторимым почерком. Расписался и подал мне со словами:

– В спецшколе это может пригодиться.

Оказывается, он написал мне характеристику. Она цела до сих пор. Лучше, чем он написал, охарактеризовать меня было невозможно. Потом он взял уже заготовленное свидетельство об окончании седьмого класса с каким-то документом, приложенным к свидетельству. Оказалось, похвальная грамота. Ведь по всем предметам я имел одну оценку: отлично. Что же касается моих «завихрений», так Пётр Алексеевич показал, что он не был мелочным человеком.

Подав мне все бумаги, он смутил меня крепки мужским рукопожатием. Расставание было тёплым, а воспоминания о Петре Алексеевиче Амосове у меня – одни из лучших воспоминаний о людях, встретившихся мне на моём довольно долгом жизненном пути.

Кинопередвижка

В Зырянке в войну не было постоянно действующего центра культуры. Существовал клуб, который постоянно был закрыт (библиотека и читальный зал отсутствовали, никакой кружковой работы не велось, да и кому и когда туда ходить?) и постоянно отапливать его, а дров на обогрев клуб нужно много, не имело смысла. Клуб открывали от случая к случаю. Несколько раз в течение года такими «случаями» были приезды кинопередвижки. Современной молодёжи совершенно непонятно, что это такое, поэтому поясню.

Людам, выросшим в городах со стационарными кинотеатрами, в которых фильмы от начала и до конца демонстрируются без перерывов для зрителя, из кинобудки двумя поочерёдно включающимися кинопроекторами, трудно представить себе, что может быть как-то иначе. А полвека, и даже кое-где в глубинке ещё и лет тридцать назад, при отсутствии стационарных киноустановок приезжала в сёла на полевые станы, в дальние гарнизоны кинопередвижка. Это транспортируемый кинопроектор на переносном штативе, электрическое питание к которому может быть подведено через трансформатор от сети, если таковая есть поблизости, или вырабатываться динамо-машиной с ручным приводом. У нас, в Зырянке, электропитание было по второму варианту. В самом начале проектор устанавливался на штативе примерно посередине зрительного зала (это определялось фокусным расстоянием проектора). На отдельную подставку (обычно на табурет) устанавливалась динамо-машина. Провода от неё подсоединялись к проектору. Бобина с первой частью и последующими, по мере демонстрации фильма, закреплялась на валике подающей бобины кинопроектора, конец ленты закреплялся на валике приёмной бобины. А затем сам киномеханик или по его сигналу кто-то из добровольных помощников начинал вращать ручку динамо-машины. Начиналось движение на экране, звучало музыкальное сопровождение из динамика. По окончании одной серии, а это примерно десять минут, аппарат останавливался. Одновременно прекращалось вращение ручки динамо-машины. Бобина с просмотренной киноплёнкой снималась с аппарата, вместо неё устанавливалась бобина с очередной частью. После этого вновь запускалась в движение динамо-машина, обеспечивая и проецирование изображения на экран, и воспроизводство звука. В Зырянке рукоятку динамо-машины крутил кто-то из зрителей. Помню, как мы, мальчишки, собирали группу «крутильщиков», распределялись по частям фильма и получали за это возможность посмотреть фильм бесплатно. Бывало, крутишь ручку, а усилие там приходилось прилагать немалое, к концу части фильма чувствовалась приличная усталость, и одновременно смотришь на экран. И, увлекшись действием, начинаешь замедлять вращение. Естественно, освещенность начинает уменьшаться, звук (если фильм звуковой) начинает заметно «плыть», говорить герои кинодействия начинают медленнее, и тембр голоса становится заметно ниже. Тогда из зала раздаётся возмущённый голос, порой и не один:

– Крути!

Иногда не сразу осознаёшь, что слова эти обращены именно к тебе. И когда уже до тебя самого доходит, что виновник ухудшения качества демонстрации – ты, спохватываешься, восстанавливаешь темп вращения и стараешься больше не допускать подобного. Правда, это не всегда удавалось.

Если кинофильм немой, то титры прочитывались зрителями вслух, как

правило, хором. Помню, как в кинофильме «Девушка спешит на свидание» на экране появился титр:

– Душ Шарко.

Большинство зрителей, не представлявших в то время, что это такое, прочитали слово с ударением на первом слоге. И тут же раздался негодующий голос директора школы, учителя русского языка и литературы, Петра Алексеевича Амосова:

– Душ Шаркоф.

Я с тех пор запомнил и слово, и правильное его произношение. А позже узнал и что это такое и зачем, и даже однажды испытал на себе это достижение искусства врачевания подъизношенной нервной системы. После фильма «Морской ястреб» мы подхватили немудрёную песенку, прозвучавшую по ходу фильма («саундтрек», сказали бы сейчас). Рефреном звучали там слова:

Уходит от берега «ястреб морской»,

Нам девушка машет рукой.

И когда в книге «Малая земля» Л. И. Брежнев вспоминал, что они там, на «Малой земле», часто пели: «*На этой дубовой скорлупке плывут железные люди*», я понял, что «спичрайтеры», писавшие книгу Л. И. Брежневу, этот фильм не видели (может, они тогда ещё не родились?). А слова правильно должны звучать так:

На этой дубовой скорлупке

Железные люди плывут.

Отходит от берега ястреб морской ...(и далее по тексту).

Вот ещё одно из зёрнышек культуры, которое в войну могло достаться на долю жителей деревни. А было их так немного.

День Красной Армии 23 февраля 1943 года

О победоносном завершении Сталинградской битвы мы узнали от директора школы, Петра Алексеевича Амосова, который провёл в школе линейку и сообщил об этом историческом событии. Безусловно, мы не могли тогда в полной мере оценить всю значимость этого события для нашей страны (и всего мира). Но то, что это некий поворот в жизни каждого из нас, мы почувствовали каким-то седьмым чувством. Это воспринималось как некий шаг к чему-то лучшему. Да и не могло же бесконечно продолжаться это мучительное испытание страны в целом и каждого из нас в отдельности! Директор (думаю, не без консультаций с местной парторганизацией, а может, и по её инициативе) принял решение широко отметить это событие в масштабе всей деревни. Но как? Пригласить, так кого, откуда, на какие деньги? Решили обойтись своими силами. И надумали провести в клубе торжественное заседание в честь дня Красной Армии (тогда день 23 февраля назывался Днём Рабоче-крестьянской Красной Армии и Рабоче-крестьянского Красного Флота). Тем более, что это была юбилейная, 25-я годовщина. А потом поставить сценку по старой сказке о том, как солдат сварил суп из топора. В клубе провели капитальную уборку и два дня топили печи, прогревая здание после всех прошедших зимних морозов. А морозы в те времена бывали крепкие. Роль солдата в инсценировке поручили исполнить мне. За месяц до этого, в крещенские морозы я при -48° (минус

сорок восемь градусов, так утверждали!) крепко поморозил мочки ушей. Но они к этому времени уже обросли новой кожей, и только несвойственный моим ушам в обычном состоянии цвет молодого поросёнка напоминал о случившемся. В Красной Армии в те времена погон ещё не было (их ввели в апреле 1943 года и мы их ещё не видели), поэтому пришлось придумывать и погоны солдата, и картуз. Гимнастёрку взяли у кого-то обычную, красноармейскую, лампы нашили на обыкновенные брюки, и даже сапоги какие-то где-то нашли. Опыта выступления на сцене у меня было немного, поэтому моё волнение перед началом действия вполне объяснимо. Особенно когда я, выглянув из-за кулис, увидел, сколько народу в зале.

В деревне давно не было никаких массовых мероприятий. И вдруг такое событие! Всех до этой поры угнетала мрачная действительность и всё ухудшавшаяся ситуация на фронте. Поэтому в клуб к началу действия народу набилось, как говорится, под завязку. Вначале, как водится, установили на сцене стол, накрытый красным сатином. В назначенное время вышли из-за кулис и сели за стол трое: президиум на торжественных собраниях всегда полагался. Насколько помню, было двое мужчин и одна женщина. Как положено, сначала прозвучал доклад о международном положении и состоянии на фронтах Великой Отечественной. Доклад был коротким. Люди слушали с большим вниманием – впервые с начала войны их собрали вместе. Вслед за тем последовало таинство великого искусства. Началось театральное действо.

Преодолевая внутреннее сопротивление и страх, «актёры» появились на сцене. Первые шаги и фразы были не очень уверенными. Но потом... Потом я увидел, с каким доброжелательным вниманием зал следил за происходящим на сцене, как живо зрители реагировали на реплики и действия исполнителей и как охотно поддерживали аплодисментами удачные мизансцены. Скванность пропала, я начал смелее и говорить, и действовать, импровизируя по ходу мини-спектакля. Насколько помню, действующих лиц было трое. Основным героем был солдат, которого я старался в меру способностей своих изобразить, второй участник – бабка, что заинтересовалась предложением ушедшего солдата научиться сварить щи из топора и третье лицо – ещё один солдат, который незримо поучаствовал в одной или двух сценках. По ходу действия исполнители, подбадрываемые зрителями, стали действовать смелее. Особенно понравилось зрителям, как хитроватый солдат, напотчевав бабку щами из топора и досыта наевшись, увидел хорошие половики, расстеленные для просушки на траве в огороде. Приглянулись половики солдату, и он начал рассказывать бабке байку о том, какой необыкновенной красоты звон у колоколов на колокольне храма в селе, которое он прошёл по пути домой. И когда солдат начал изображать звон колоколов словами: «Тяни... Тяни...», другой солдатик, не замечаемый бабкой, начал потихонечку тянуть половичок. А первый продолжал:

«Тяни-тяни, потягивай, потягивай», – в то время как другой солдатик (он тянул из-за кулис) смотал один половичок, потом ещё... Одним словом, спектакль прошёл на ура.

Зрители еще довольно долго вспоминали отдельные сценки и диалоги из этого немудреного спектакля. А я до отъезда из Зырянки носил (не без гордости) добродушно-уважительное прозвище «солдатик».

Алексей – Божий человек

А почему же я ни разу не упомянул о молоке и молочных продуктах, если у бабушки была корова!

Дело в том, что за месяц-полтора до отёла корову «запускают» – постепенно перестают доить. А если корова молодая, то «запускают» её ещё раньше. Это необходимо, чтобы организм коровы подготовился и к тому, чтобы родился нормальный телёнок, и к тому, чтобы был готов к последующему выкармливанию нового живого существа. Зорька должна была отелиться всего вторым телёнком, поэтому бабушка «запустила» её почти за три месяца до отёла – перестала доить с первых чисел нового 1943-го года. Да и перед этим молодая корова давала очень немного молока. В последние дни марта бабушка по два-три раза выходила ночью к корове в стайку, чтобы не прозевать момент отёла и принять телёнка. Ведь телёнок мог простыть (в стайке температура была минусовая), да и корова могла по нечаянности затоптать новорожденного. И вот в ночь на 31 марта бабушка пришла в стайку исключительно вовремя. Она приняла телёнка, провела все необходимые процедуры, укутала новорожденного пиджаком и принесла в избу. 31 марта, согласно святцам, праздник Алексея, Божьего человека. А посему телёнок был наречён Лёнкой. На улице ещё стояли морозы, стайка, конечно, не отапливалась, и оставлять телёнка там было нельзя. И чтобы он по врождённому инстинкту не потянулся к вымени, его нужно было держать отдельно от коровы. Так что же делать? Бабушка оттащила из угла избы, ближнего к двери, свою кровать, нашла на стене гвоздь, привязала к нему верёвку такой длины, чтобы телёнок не мог, натянув её, задохнуться, обвязала её довольно свободно вокруг шеи телёнка и оставила его в треугольном пространстве, ограниченном двумя стенами (угол избы) и её кроватью.

Во время пребывания в стайке до отёла корове давали сено из травы, накошенной на болоте. Это была очень грубая трава, в основном – осока. По случаю отёла был вскрыт стог сена, из травы, накошенной по опушкам леса. Оно было более мягким, очень душистое. И иногда между травинками обнаруживались ягодки земляники. Эх, как они (хоть и сухие!) были ароматны! Особенно в условиях полнейшего отсутствия каких-либо кондитерских вкусов на протяжении многих месяцев! Трудно поверить, но аромат сена и вкус ягодок памяты мне до сих пор.

Телёнок есть телёнок. Он, как всякое любое теплокровное, поглощает воду и пищу, выдаёт продукты жизнедеятельности. В любое время, когда и где его «приспичило». Можно попытаться напрячь воображение и представить себе, какая «атмосфера» была в нашей избе в течение тех трёх недель, которые он жил в избе до поры, когда стало достаточно (без опасности причинить ущерб здоровью телёнка) тепло в другом помещении стайки, отделённом от коровы лёгкой стенкой. И снова в избе восстановилась атмосфера, в которой можно есть, пить, спать, делать уроки, дыша достаточно чистым воздухом.

В течение двух (насколько я помню) недель после отёла коровы молоко невозможно было использовать в пищу. Это было «молозиво» – молоко особого состава, которым в первые дни жизни питается телёнок. У «молозива» неприятные для человека вкус и запах, но зато много питательных веществ, необходимых телёнку. Всё молозиво полностью выпаивалось телёнку. А потом

корова начала давать молоко, съедобное и для нас. Часть его, в смеси с мукой, размятой картошкой, шла в пищу телёнку, но кое-что стало доставаться и нам. В первую очередь – четырёхлетней Люське. Но вскоре дошла очередь и до остальных. Жить (в смысле питания) стало легче.

А как мы все (включая и мою скуповатую на эмоции бабушку) от души смеялись, глядя на то, как Лёнька, впервые выпущенный на открытый воздух во двор, начал двигаться, вначале неуверенно, шажком, и не прямо, а как-то вбок, потом всё быстрее, а потом помчался, задрвав хвост, из одного угла огороженного двора в другой.

Санитарный поезд

Большим событием для Зырянки оказалась стоянка в течение двух недель санитарного поезда в тупике на станции. Он пришёл, по-видимому, ночью. Просто однажды глазам местных жителей на пустом тупиковом пути около пакгауза вдруг предстал состав из семи или восьми вагонов, насколько помню, бывших дачных (а может, и пульманов), заселенных молодыми весёлыми людьми обоего пола в красноармейской форме. Да и как им не радоваться! Война более чем за две тысячи километров отсюда, ни обстрелов, ни бомбёжек, продовольственное обеспечение гарантированное и куда более высокое, чем у гражданского населения. Раненых в поезде нет, а значит, и хлопот никаких нет. Какова была причина поставить этот поезд в тупик в Зырянке, теперь уже никто не сможет с уверенностью объяснить.

При отсутствии иных новых впечатлений появление санитарного поезда стало большим событием для всей деревни. Пацанва в свободное от домашних работ время подступала к вагонам всё ближе, подмечая все особенности чужой и не похожей на них, жизни из другого мира. Обеспеченного всем. А главное, сытого.

Не помню, с чего это пошло, предложил ли кто из обитателей поезда, видя голодные глаза и измождённые лица деревенских ребятишек, спросил ли кто из местных, только в один из дней кто-то из детей пришёл с кастрюлей. И налили в неё густого наваристого супа по самые края. Как видно, с котловым довольствием в Красной Армии было в порядке. Случилось это, кажется, после обеда. После ужина с кастрюлями пришло уже несколько человек. И пока этот поезд стоял в Зырянке, несколько детей из самых обездоленных семей регулярно ходили к поезду после завтрака, обеда и ужина. И как же я радовался за Шумских, когда увидел, как они несколько раз ходили с ведром за супом из кухни поезда! Моя бабушка категорически запретила мне что-либо брать. Да я и сам понимал, что положение с питанием нашей семьи ещё не самое бедственное.

Помню и другое. Шёл как-то воинский эшелон с пополнением из Сибири на запад в сторону г.Челябинска и далее на фронт. В Зырянке он простоял несколько часов. Красноармейцам разрешили пройти по деревне. Один молоденький красноармеец подошёл к нашей калитке. Бабушка как раз была во дворе. И он спросил: нет ли молочка. Бабушка тут же ушла в избу, спустилась в погреб и достала крынку молока. А молоко у нашей коровы было хорошее. В полуторалитровой крынке настаивался стакан сливок. Бабушка подала красноармейцу крынку. Посуды у него с собой не было, поэтому он просто выпил содержимое в несколько приёмов. Всё это время моя бабушка в платочке,

повязанном по-крестьянски, «домиком», наблюдала с невиданным мною у неё жалостливым выражением лица. Одной рукой она придерживала платок около горла, другая рука висела вдоль тела. Сделав последние глотки, красноармеец глубоко вдохнул, обтёр губы ладонью и полез за деньгами. И здесь моя бабушка, горестно вздохнув, сказала:

– Не надо, милый. Может, кто-нибудь вот так же угостит и моих сыночков.

Меня поразило тон, каким бабушка произнесла эти слова. Я привык к тому, что она строгая, суровая, даже жёсткая порой в общении. А здесь столько материнской тоски и опасений за судьбы троих сынов, находившихся в армии (двое из которых на фронте), прозвучало в этой фразе, что и слова, и интонация, с которыми они были произнесены, врезались в мою память на всю жизнь.

И снова город. Техникум

Итак, седьмой класс окончен. Завершено неполное среднее образование по тогдашней градации ступеней советской системы образования. Теперь я мог поступать в какой-либо техникум или продолжить обучение в восьмом классе. Была ещё одна возможность: идти работать. Однако мне очень хотелось получить образование, и по возможности высшее. Тем более, что учиться очень любил, причём всегда и всему. В школе у меня почти не было нелюбимых предметов. Разве что ботаника с её схемами цветов и соцветий, пестиками и тычинками.

Но в сложившейся ситуации у меня на этот раз была полная неопределённость с выбором дальнейшего пути. Не хватало зрелого отеческого совета. А от отца с фронта уже почти три месяца нет вестей. Бабушка вся извелась, хотя она молча переносила эти муки неизвестности. Ведь ещё один её сын, брат отца, Анатолий, добился, наконец, чтобы его, инструктора Молотовского авиационного военного училища лётчиков направили на фронт. В армии на Дальнем Востоке служил ещё один её сын, Владимир, готовясь в любой момент участвовать в отпоре японскому войску, если оно забудет про уроки Хасана и реки Халхин-гол. Мама в г. Челябинске разрывалась между работой и годовалой дочерью, да ещё двое младших наших – мой сводный брат и сестра, заниматься с которыми помогала бабушка Варвара Ивановна. А ей надо было успеть укараулить у магазина подвоз продуктов по карточкам. В такой напряжённой неопределённости тянулись дни после окончания школы. Особых работ по хозяйству у меня не было. Деревенские же ребята, наоборот, были заняты копкой земли и другими огородными заботами, заготовкой валежника. Вот и я как-то пошёл за этой разновидностью топлива. Иду из лесочка с вязанкой, а мне навстречу бегут и что-то кричат мои деревенские товарищи. Подхожу ближе, слышу: «Аркаша, иди скорей! Там открытка от отца!» Я сбросил с плеча свою «добычу» – мешала бежать. Кто-то из друзей моих эту вязанку подхватил, понёс неспеша, а я вихрем домой. Вбегаю избу:

– Где?

Улыбающаяся тётя Лиза подаёт мне открытку – кусочек плотной бумаги с почтовой маркой и адресом на одной стороне и с текстом на другой (теперь такого вида почтовых отправок нет). Почерк папы! Торопливо читаю краткое сообщение: он дома, оформляется на работу, а мне предлагает приехать домой.

Кричу:

– Уррраааа!!!, – и лихорадочно начинаю собираться. Улыбающаяся (впервые за три месяца!) бабушка «охлаживает» меня. Тут же определяем круг забот при сборах. Ведь мало было собрать вещи. Нужно было, пожалуй, в первую очередь, собрать все документы. О том, как я получил свидетельство об окончании седьмого класса, я уже рассказал. Но нужно ещё обзавестись справкой из сельсовета, что я еду по делу (указывается причина), т.е. не отлыниваю от работ во имя победы. Без справки не дадут билет в кассе на поезд. Не помню уже, как удалось обойти вопрос о справке из санпропускника. И вот всё собрано, Мешок побольше – с носильными вещами и учебниками, поменьше – брусника, собранная мною осенью прошлого года и ожидавшая в погребе своей участи. Внимательно изучив мои бумаги, кассир выдаёт билет. Бегом на платформу – поезд в Зырянке стоит всего две минуты! Бежим вдоль платформы, разыскивая нужный вагон. С большим трудом, с помощью провожающих, «вжимаюсь» в плотную массу пассажиров, забивших тамбур вагона дачного типа. Стараюсь изо всех сил не выпустить из рук немудреную поклажу. И вот два звонка станционного колокола, свисток кондуктора, гудок паровоза и поезд медленно трогается, увозя меня из Зырянки, которая дала мне столько полезного в копилку жизненного опыта! С трудом пробрался я на междвагонную площадку, на которой проехал всю ночь, почти шесть часов, до самого г. Челябинска (благо, не было ни дождя, ни сильного ветра). Дорогу от вокзала до дома преодолел минут за десять вместо двадцати обычных. Было раннее утро. Открыла мама. Обнялись, она поспешила разбудить отца. Я почти не узнал его, сильно поседевшего и с короткими волосами (только ещё начали отрастать после армейской стрижки). Стали глубже морщины. Обнялись, расцеловались. После всех утренних процедур сели за стол завтракать. Я всё время отвечал на вопросы, чаще мамы. К концу завтрака мама задала самый главный для неё вопрос. Зная, что я решил ехать поступать в г. Свердловск, в тринадцатую киевскую авиаспецшколу, она сказала:

– Сынок, отец приехал. Может, не поедешь?

– Нет, мам, поеду! – сказал я твёрдо.

Мама вздохнула и больше разговор на эту тему не поднимала.

Поездка в г. Свердловск оказалась неудачной: получив заключение «годен» по всем проверенным органам и функциям организма, я был отправлен домой из-за роста: мне не хватило целых девять сантиметров! После этого на домашнем совете было решено, что я должен продолжить обучение в техникуме. Отец сказал:

– Лучше всего получить бы специальность электрика, она всегда будет нужна. А по окончании техникума и специальность будет, и можно будет поступать в институт. А из школы – я думал продолжить учёбу в восьмом классе – могут в любой момент забрать в ремесленное училище или в школу ФЗО.

К тому же, с приходом отца, продовольственное положение нашей семьи резко улучшилось. Должность старшего диспетчера службы движения управления дороги относилась к среднему комсоставу. А это значит, что продукты ему выделялись (и теперь уже полностью обеспечивались) по этим нормам. Это были «литер Б» и «сухой паёк». Не помню уже, сколько это было в точном количественном измерении, Но что было это существенно больше, чем

по обычным карточкам, и у нас даже начали образовываться кое-какие запасы. Согласившись с отцом, я нашёл техникум, обучающий по такой специальности. Так я стал учащимся отделения «Электрооборудование промышленных предприятий» челябинского (переведённого в 1942 году из Верхней Салды) строительного (ныне ЮУрГТК) техникума.

Специально подчёркиваю для современной молодёжи: и по техникумам я проехал сам, и документы сдавал сам, без папы и мамы, хотя росточком был, напомним, всего один метр и сорок один сантиметр. Для справки: правнучка моя, начиная первого сентября 2014-го года обучение в пятом классе, имела рост один метр сорок шесть сантиметров.

Через пять дней после подачи документов я, в группе учащихся техникума под руководством преподавателя Щуровой (имя не вспомню) поехал на три недели в совхоз «Строитель» на уборку томатов и огурцов. Поселили нас в типовом для тех времён полевом вагончике с двухъярусными нарами. Утром после подъёма и вечером после отбоя мальчишек выгоняли на улицу, чтобы девочки могли, соответственно, одеться или приготовиться ко сну. Раз в сутки нам давали тарелку (черпак из общего котла в привезённый с собой котелок) щей, в которых попадался кусочек мяса, и пятьсот граммов хлеба. Ели в поле, сколько могли съесть без соли, огурцы и помидоры. Что удавалось протащить с собой в карманах или под рубашкой, шло на ужин и завтрак с тем куском хлеба, который оставался от пайки, полученной в обед. В сентябре начался учебный год. Страна продолжала жить в напряжённом ритме. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» реализовывался и на промышленных предприятиях, многие из которых работали круглосуточно (две смены по 12 часов). Преподавательский состав состоял во многом из педагогов, эвакуированных из западных областей страны. Многие – бывшие преподаватели вузов. Им, привыкшим к более спокойным аудиториям студентов, которые были старше нас по возрасту, было особенно трудно общаться со школьниками-восьмиклассниками (возраст первокурсников техникума). Помню, как отчаявшийся призвать к порядку на уроке расходившихся школяров стучал узкой ладонью с длинными пальцами высокий и нескладный, закутанный в поношенное пальто (в классе было прохладно) преподаватель математики Николай Павлович Засс, произнося при этом:

– По-английски это называется бедлам, что означает сумасшедший дом!

В конце концов, не сладив с коварной аудиторией сорванцов, он куда-то перешёл, а его место заняла Елизавета Алексеевна Шихова. Не один десяток преподавателей прошёл через мою жизнь. Но не так уж многие из них могут быть поставлены рядом с Е.А. Шиховой и по методике преподавания, и по умению буквально держать в руках аудиторию. Ходила она неизменно в заношенном демисезонном пальто, которое никогда не снимала. Щёки её всегда были малиново-красного цвета (вероятно, из-за склероза сосудов кожи лица), острословы быстро сумели ей придумать прозвище «клюква». Говорили, что на иждивении Е. А. Шиховой была больная мать, и жили они лишь на её зарплату, питаясь только тем, что могли получить по карточкам. И все эти немалые бытовые трудности никак не отражались на качестве её работы. Я не помню случая, чтобы она повысила голос, так же как и мало у кого из педагогов были на уроке такие тишина и внимание к излагаемому материалу. Результат: в нашей

группе не было неуспевающих ни по элементарной математике, ни по основам интегрального и дифференциального исчисления.

Как-то в техникум пришли два преподавателя из числа эвакуированных. Они принесли с собой метровой длины макет логарифмической линейки. Вероятно, ради хоть какого-то приработка, они готовы были прочесть несколько лекций о том, как пользоваться такой линейкой. Но линеек таких ни у кого из нас не было, а купить их было негде, да и объём расчётов по учебным заданиям и проектам был у нас невелик, не то, что в институтах (об этом я на практике узнал через три года, обучаясь в институте).

Примерно половина состава учащихся была из числа эвакуированных. Было несколько бывших фронтовиков. Но были и те, кто в строительный техникум пошли лишь из-за того, что он обеспечивал бронь от призыва в армию. Никаких кабинетов, наглядных учебных пособий. Всё на мелу и по учебникам. Помню, как приходилось делать чертежи при копилке, ибо населению запрещалось пользоваться электроэнергией с 17-ти и до 23-х часов: энергия была нужна оборонным заводам для изготовления вооружения. Ведёшь линию рейсфедером по линейке до тех пор, пока эту линию видишь. Тогда держишь рейсфедер в точке, до которой довёл, другой рукой переставляешь копилку, чтобы осветить следующий участок линии, и снова приводишь в движение рейсфедер. Конечно, качество подобным образом полученных чертежей оставляло желать лучшего. А что делать?

Народ в техникуме был самый разный. Были и мои одноклассники-челябинцы, с некоторыми из них я был знаком ещё в школе. С Женей Фоминых я учился во втором классе, с Борисом Митиным дружил с 5-го класса, с Лёвой Анисимовым – в шестом, с Ратмиром (Миркой) Мачалкиным – в параллельных шестых. Были и другие челябинцы из разных школ. А кроме них, Лёня Непомнящей из г. Одессы, Марк Браун из г. Харькова, Аркадий Грутман, Юрий Ройз и Алик Пастернак из г. Киева, Толя Гладышев со смоленщины, и ещё эвакуированные из разных городов. У многих сокурсников оказались непростые судьбы и условия проживания. Некоторые были эвакуированы отдельно от родителей и хлебнули лиха полную чашу. Так, по рукавам и брючинам костюма, в котором ходил Аркадий Грутман, было видно не только то, насколько он вырос из этого костюма, но и то, что новый купить ему было не на что. Я так и не узнал, где его родные, на что и как он питался, проживая в общежитии техникума. Он неизменно был весел, передал нам массу песен, в том числе и студенческих, а на вечерах самодеятельности не раз исполнял песни ломким баском. Толя Гладышев был эвакуирован из Смоленской области. Отец его был взят в армию в первые дни войны, мать с младшими братом и сестрой остались на оккупированной территории. Жил он в общежитии завода, на котором работал и нередко засыпал на занятиях из-за переутомления. Но учиться старался в полную меру способностей своих. А они у него были. Зная трудную судьбу однокурсника, мы отдавали ему талоны на дополнительное питание, которые иногда выдавались наиболее успевающим учащимся, собирали деньги в дни получения стипендии. Он был скромным и гордым. Стоило большого труда уломать его, чтобы он взял эти проявления человеческого участия. Забегая вперёд, скажу, как потом счастливо обернулась его судьба. Многие учащиеся второго курса поступили осенью 1944 года учиться в вечерние школы. И когда в

1945 году подошла пора сдавать экзамены на аттестат зрелости, друзья уломали его(едва-едва!) идти сдавать экзамены вместе с ними, хотя он в течение учебного года в школу не ходил. Похоже, директор школы «закрыла глаза» на этот факт, стараясь выполнить план по количеству выпускников. То же сделал и А. Грутман. Толе (и Аркадию) удалось-таки получить аттестаты и потом сдать вступительные экзамены в институт. Когда Толя уже сдавал экзамены, пришло письмо от матери. Она с детьми выжила в оккупации, и сразу после освобождения их деревни от немцев начала искать сына. Нужно ли говорить, как он был рад и как его это воодушевило! А когда он уже поступил в институт, пришло сообщение: отец пришёл домой после ранения. К сожалению, я так и не знаю, как сложилась дальнейшая судьба этого замечательного, волевого и трудолюбивого человека. Да и учащиеся-горожане тоже жили скудно. Некоторые искали способ подработать. Так, друг мой Ратмир (Мирка) Мачалкин наловчился изготавливать и продавать сапожную ваксу по одному известному ему рецепту. (Из государственной торговли эта вакса пропала: война, не до неё!) Где и какие ингредиенты он для этого доставал, было известно только ему. Когда иссяк источник сырья, он переключился на игрушки, которые выпиливал лобзиком из фанеры. Борис Бурмистров продавал на базаре зажигалки, которые из латуни вытачивал на каком-то оборонном заводе и выносил через проходную его знакомый рабочий. Это при всех запретах и пристальном внимании «органов» ко всем и всему. Кстати, постоянно видели мы в ряду торговцев необходимыми бытовыми товарами нашего преподавателя черчения Якова Александровича Березина. Естественно, тут же родилась его подпольная кличка: «Яшка-барыга». Проходя мимо этого ряда по базару (у многих из нас дорога домой пролегла через это средоточие товарно-денежных отношений) мы ещё издали старательно отводили глаза от знакомого лица, которое также прятало глаза. Кстати, отмечаю: в нашей группе, группе будущих электриков, девчат не было. Были они в других группах, но совсем немного. И вот челябинский строительный техникум (собственно говоря, как и любое другое учебное заведение), как плавильный котёл, принял в себя этих особей мужского и женского пола, местных и приезжих, с разным уровнем подготовки и культуры, с тем, чтобы через четыре года выпустить хороших специалистов, полезных обществу. В нашем техникуме, как и в любом другом учебном заведении, собралось большое количество молодёжи в разной степени одарённой не только способностью к учёбе, но и ищущей возможности проявить себя в чём-то ином. В частности, в меру своей одарённости в каком-то из искусств. В те времена, когда не было телевидения, люди старались заполнить досуг чтением книг, посещением театров и кинотеатров. И не только. Наиболее активные объединялись в кружки самодеятельности по интересам – музыкальные, театральные. Результат деятельности таких объединений периодически представлялся коллективу товарищей по учёбе на вечерах самодеятельности, которые устраивались, чаще всего, по праздничным дням. Конечно же, это были празднование Нового года, основных советских праздников – 1-е мая и 7-е ноября. Но мог быть и просто устроен вечер самодеятельности. Я поначалу ходил в драмкружок, который очень хорошо вёл выходец из театральной семьи Саша Эрмант. Помню, как я участвовал даже в «выездном» спектакле, который мы, по просьбе комсомольской организации вагонного депо станции Челябинск,

представили на молодёжном вечере в депо. Однако партийному руководству депо содержание пьесы показалось «безыдейным», а исполнение – вульгарным. В райкоме влетело комсorghу техникума за плохую воспитательную работу в коллективе. А я тем временем уже заметил несколько любителей музыки (как известно, рыбак рыбака видит издалека). И не просто любителей, но и способных владеть каким-либо из доступных струнных инструментов. С Сашей Андриюшко мы встречались ещё в шестом классе на районном смотре школьной самодеятельности. Он классно играл... Нет, вру. Он виртуозно, без скидок на возраст, владел мандолиной. Умело играл на мандолине Володя Чирков. Хорошо могла аккомпанировать на гитаре Ниночка Кривенко. Подтянулись ещё несколько ребят. Ну а я понемногу владел обоими инструментами. Костя Бахарев, самоучка-виртуоз, который на барабанах чуть побольше пионерского (и где он только его добыл?) и какой-то «спецдеревяшке» демонстрировал поистине чудеса ударного искусства. Все мы были «слухачи», т.е. не имели специальной музыкальной подготовки и не владели в полной мере нотной грамотой. Все мелодии воспроизводились без помощи нот, и только на слух. Несмотря на это, наш струнный оркестр пользовался успехом. То, что родной наш г. Челябинск находился в глубоком тылу, избавляло нас от артиллерийских обстрелов и воздушных налётов. Насколько мне запомнилось, в 1941-1943 годах в городе было проведено всего две учебных воздушных тревоги. Одежда и обувь приобретались на базаре. Иногда союзники присылали подержанные вещи. Порой это были настоящие обноски (тогда ещё не было понятия second hand), и распределяли их по предприятиям. Выдавали их бесплатно, а не так, как в 90-е, в «демократической» России. Работал стационарный цирк. Тогда он располагался где-то в районе нынешнего центра танцев по ул. Советской. В те времена были очень популярны выступления борцов, и мы сбегали иногда с последних часов занятий в техникуме, чтобы посмотреть очередные схватки этих атлетов. Нас восторгали их мощные литые торсы, их мужественные лица. Нашим кумиром был темнокожий борец Франк Гуд. И мы щеголяли друг перед другом знанием терминов, обозначающих приёмы французской борьбы – «нельсон», «двойной нельсон», «суплесс», «полусуплесс»... А ещё я записался в парашютный кружок в аэроклубе и посетил несколько занятий. Изучил укладку купола, правила покидания самолёта и приземления. Тогда ведь прыгали с По-2. А чтобы покинуть его, нужно было на высоте 800 м при скорости полёта самолёта 60 км/ч выйти из передней кабины, пройти до задней кромки крыла и, по команде инструктора, оттолкнувшись обеими ногами, прыгнуть с крыла, наклонив туловище под 45° к направлению воздушного потока. Но незадолго до начала практических прыжков, а это было весной, вся группа потенциальных малолетних парашютистов распалась. Почти все мои «соратники по любви к парашютному спорту» подрабатывали штучной торговлей папиросами на базарах, а весной начиналось оживление торговли. Так мне на это раз и не удалось прыгнуть с парашютом.

По окончании первого курса все мы были направлены на производственную практику на оборонный завод № 78. Там наша группа (электрики) вначале осваивала гибку стальных труб диаметром 50-70 мм. Они использовались в качестве кожухов для электрожгутов, проходящих вдоль

рельсов мостового крана, переносившего массивные детали вдоль пролёта цеха. Труба устанавливалась вертикально, набивалась сухим песком, после чего разогревалась на костре в месте гибки до красного свечения. После этого трубу закладывали между специальными металлическими тумбами, врытыми в землю, и, под дружным натиском нескольких практикантов, изгибали в нужном месте под необходимым углом. А потом мы осваивали технику пробивания шлямбуром стены в два кирпича для прокладки силового кабеля с понижительного трансформатора в цех. Нам сказали:

– Вы видите, что делают с цехе?

Сквозь очень грязные стёкла окон было видно: в цехе точат снаряды.

– Сами понимаете, электропитание отключать нельзя. Поэтому, размахиваясь молотком, смотрите, чтобы не коснуться шины. Она под напряжением шесть киловольт. Распишитесь, что вы прошли инструктаж по технике безопасности!

После этого нам дали шлямбур (стальная труба около 30 мм в диаметре и длиной около 30 мм с зубчиками по краю на одном конце) и ручник массой 400 г. Рукавиц не дали. Молотком каждый из нас в какой-то степени владел. Вот шлямбур все мы видели впервые. Мастер приставил к стенке лесенку, встал на неё, сказал:

– Смотрите! – после чего нашёл нужное место на стене, приставил к кирпичу зазубренный конец шлямбура, ударил по нему несколько раз ручником и сказал:

– Вот так продолжайте, пока не пробьёте две дыры. Я потом зайду, посмотрю.

И ушёл. И вот мы, будущие техники-электрики по оборудованию промышленных предприятий, сменяя друг друга, приступили к практическому освоению рабочей специальности. А стенка была из добротных, хорошо обожжённых кирпичей. Так что кусочки такого кирпича выкалывались зубчиками шлямбура с трудом. Новизна рабочего приёма (долбить вертикальную стену не доводилось ещё никому из нас), неудобное (и довольно неустойчивое) положение неловкого работника на лестнице, причём из-за разницы в росте кому-то было удобно бить, стоя на этой ступеньке, кому-то не очень, отсутствие рукавиц привело к тому, что через несколько ударов каждый из нас ударил молотком по пястному суставу указательного пальца левой руки, а Лёва Анисимов – правой (он был левша). Несколько таких ударов и сустав начал превращаться в кровавое месиво. (Но ведь дыру-то пробивать надо! Война ведь! Фронту снаряды нужны!). А замахиваясь ручником при первых ударах, мы то и дело оглядывались на шину под напряжением в шесть киловольт. Мастер, пришедший через некоторое время, увидел, что работа продолжается. При этом он не догадался (или не захотел?) предложить, а никто из нас не догадался спросить, рукавицы. На другой день все пришли с перебинтованной (кто левой, а кто правой) рукой. Правда, мы уже как-то приноровились. И по руке почти перестали бить, и на шину стали реже оглядываться. И мастер, видя, что дело идёт, заглядывал к нам только в начале смены, в обед, да к концу дня. К вечеру обе дыры были пробиты.

– Хорошо! – сказал мастер и тут же дал нам какую-то новую работу.

По окончании практики, летом 1944 года, все парни, не освобождённые по

состоянию здоровья от военной службы, были отправлены в военные лагеря на реке Уй неподалеку от ст. Троицк. Там мы прошли курс молодого бойца, овладевали умением шагать строем и перестраиваться на ходу, стреляли из боевой винтовки по мишеням, изучали приёмы рукопашного боя, играли в тактические игры. Ну и пели, конечно. Поколение наше было певучим. Там мы впервые узнали об изменении уставов, сопутствовавших переименованию армии из красной в советскую. Научились отвечать на приветствие «Здравия желаю!» вместо «Здрассс!!!», подтверждать полученное приказание словом «Слушаюсь!» вместо «Есть!». На втором курсе жизнь и учёба в техникуме, а также жизнь в городе шли привычным путём.

Осенью 1944 года большая группа моих однокурсников была отправлена на сельхозработы. И снова это был совхоз «Строитель». На этот раз старшим доверили быть нашему однокурснику, семнадцатилетнему Юрию Ройзу. Был сентябрь, а на Урале он в те времена бывал довольно студёным. Иногда и снежок выпадал. Поэтому поселили нас в здании пустующей (не знаю, почему) школы. Там ночью всё же теплее чем в строительном домике. Спали на полу, на матрацах, набитых соломой. Питание было скудным – щи в полдень и пятьсот граммов хлеба. Мы стали делать вылазки на поля – то за турнепсом, то за свёклой. Иногда «брали» и капусту. Когда бригадир начал возмущаться нашим воровством (До вас у нас никто не воровал!), мы попросили встречи с директором совхоза. По слухам, был он из немцев Поволжья и имел награду – орден Ленина. Высшую награду государства в те времена. Ему мы высказали свои претензии – и не сытно, и холодно, одежду после дождей просушить негде. Он, видя, что перед ним пятнадцати - шестнадцатилетние пацаны, не лентяи, но попавшие в сложные бытовые условия, дал указание выписать картофеля, дров для растопки печки и дать по одеялу. И всё пошло при полном взаимном согласии обеих сторон. Помню, с каким трудом мы уезжали в г.Челябинск со станции Шумиха. На поезд никто нам не хотел продавать билеты, ибо необходимых для этого документов у нас не было. Спасибо, многие работники станции хорошо помнили моего отца, диспетчера управления дороги, с которым им во время дежурств до ухода его на фронт не раз приходилось разговаривать по селектору. Нас посадили в какой-то грузовой вагон. Мы разместились между разного рода металлоконструкциями и через несколько часов вышли на технической остановке, где остановился этот грузовой состав. До самой станции г.Челябинск мы не доехали сознательно. Нас могла бы задержать милиция и долго выясняла бы, почему какие-то мальчишки без документов едут в вагоне грузового поезда?

Так жили я и мои ровесники, мальчишки и девчонки, юноши и девушки в условиях войны. Всё описанное в этих воспоминаниях лишь честное изложение увиденного и пережитого лично мной и моими товарищами.

Из моих воспоминаний хорошо видно, насколько разительно отличались условия жизни в городе и в деревне.

Год 1945-й. Война успешно откатывалась на запад. И хотя жить всё ещё было трудно, не хватало питания, в переуплотнённых квартирах, подселёнными эвакуированными, жилось тесно и неудобно, всё же чувствовалось приближение её окончания. Что-то изменилось в общей атмосфере общественной жизни. И вот 9 мая 1945 года. Стихийный сбор жителей у своих предприятий, демонстрация

по улице Кирова, а вечером народное гулянье с фейерверком из ракетниц (соответствующих установок для фейерверков тогда у нас в городе не было). А 13-го мая снова народное гулянье с таким же фейерверком. А потом, когда стемнело, демонстрация фильмов с кинопередвижек прямо на улицах на огромных полотнищах, растянутых по фасадам зданий. Помню, как коченея в рубашке (в середине мая в г. Челябинске, мягко говоря, не слишком тепло) я впервые посмотрел фильм Пырьева «В шесть часов вечера после войны». Через месяц после праздника мы сдали экзамены за второй курс техникума. А потом те, кто учились в вечерней школе, в том числе и я, сдали выпускные экзамены, получили аттестаты зрелости, введённые с этого учебного года, и подали заявления в институты, которые давно для себя выбрали.

Но это была уже другая жизнь, жизнь по законам мирного времени, хотя на изменение норм жизни по законам мирного времени потребовался не один год.

И, как говорят сейчас, это была уже совсем другая история.

Коля

Как-то апрельским днём 1945-го года иду я домой после занятий в техникуме. (Он располагался в цокольном этаже управления Южно-Уральской железной дороги). На улице тепло, уже сняты зимние пальто и шапки, и настолько просохло на улицах, что начали ходить без галош. Путь мой из дома в техникум и обратно протекал через рынок, который называли «элеваторным», т.к. располагался он рядом с элеватором неподалёку от Театральной (ныне) площади, напротив управления Южно-Уральской железной дороги. Уже давно снесён элеватор, ликвидирован рынок, на их месте построены жилые дома. А тогда...

Прошёл по территории рынка, выхожу из ворот и замечаю группу людей, человек пятнадцать, молча стоявших полукругом вокруг кого-то, прислонившегося к одной из стоек ворот. Присоединяюсь к этой группе и вижу: у одной из стоек полусидит юноша, примерно, мой ровесник (лет 15-16), только выше ростом. На нём ватник и ватные брюки, ботинки на деревянной подошве и шапка-ушанка, завязанная под подбородком, хотя на улице совсем тепло. А под ним – лужа. Похоже, сидел он уже давно. Что же касается лужи... Возможно, у него просто не было сил сходить оправиться. Это я понял несколько позже. Шёл четвёртый год войны. Наши войска громили фашистов в Европе. По всему чувствовалось, что конец её уже близок. За эти годы я видел множество людей разного возраста и состояния. Но что такое «опухнуть от голода» я раньше только слышал, но здесь увидел воочию. Всё лицо – сплошная опухоль. И глаза едва видны сквозь щёлочки между распухшими щеками и надбровными дугами. Естественно, стоявшие рядом люди задавали вопросы, стараясь узнать, кто он, что произошло и кое-что ещё, что обычно спрашивают в таких случаях. На вопрос, как зовут, он ответил:

– Коля.

Из дальнейшего опроса выяснилось, что его только что освободили из тюрьмы, где он сидел за кражу куса хлеба. Оказалось, что он из г. Златоуста, до которого сто шестьдесят километров по железной дороге. А у него нет денег, из

документов же имеется только справка об освобождении.

Стою, слушаю, в голове мысли всякие. И вдруг вижу в толпе одного паренька с соседней улицы. Жители малоэтажных домов чаще видят и лучше знают друг друга, чем жители девятиэтажек. Мы не были с ним знакомы, даже не знали как зовут. Но это не помешало мне подойти к нему и спросить:

– Поможем?

– Попробуем, – сказал он, пожав плечами.

План был прост. От ворот рынка до городской больницы, что на улице Воровского, примерно пятьсот метров. Мы решили довести Колю до больницы, сдать в приёмный покой, ну а там, как мы рассудили, умереть не дадут. Мы предложили этот план Коле. Он не возражал. Ну а что, по совести говоря, мог он возразить? Ведь у него вариантов не было. И вот когда мы его стали поднимать, я поразился: до чего же он был лёгок! Вели мы его, держа подмышки с разных сторон. И каждый старался не прижиматься к нему, идти на расстоянии вытянутой руки. Оба мы боялись, что у него могут быть вши, которые переползут на нас. Раза три он просил нас остановиться передохнуть. (Совсем ослаб с голодухи). Но потом и мы начали уставать. Всё же неудобно идти даже с лёгкой ношей, если она на расстоянии вытянутой руки. Посоветовались с «собратом по операции». Решили: он идёт в больницу, берёт носилки, а дальше мы Колю донесём. Коля слушал наш диалог молча. Говорить ли ему трудно было, доверился ли он полностью неожиданным «спасителям», не знаю. Мы прислонили Колю к столбу, я встал рядом, придерживая его, напарник ушёл. Я ни минуты не сомневался, что он вернётся, и всё же понемногу начал волноваться, когда мне начало казаться, что время затягивается. Это ведь сейчас даже у младших школьников есть если не часы, то мобильный телефон, по которому всегда можно определить время. Тогда даже у большинства взрослых часов при себе не было. И вот вижу: появляется вдали мой напарник с носилками, спешит, а приблизившись, объясняет, что кого-то там, в больнице, из хозяйственников не было и вышла задержка с получением носилок. (В порядке отступления: я очень сомневаюсь, чтобы сейчас в больнице, незнакомому юноше с улицы дали бы под честное слово, без залога паспорта или денег носилки!) Быстро кладём носилки, помогаем Коле поудобнее лечь на них, и вперёд! До приёмного покоя дошли быстро. Там после некоторых колебаний приняли неожиданного пациента, быстро раздели, чтобы помыться в бане. Ну, а нам сказали, что свободны.

В это время у меня не было свободного времени – я обучался одновременно днём в техникуме, вечером в школе рабочей молодёжи, в десятом классе. Поэтому я не мог зайти в больницу, чтобы узнать: как там наш Коля? Но как-то мне встретился мой напарник по этому делу и сказал, что Колю откармливают. Ещё некоторое время спустя тот же хороший человек при встрече сказал, что Коля уехал домой. Было приятно сознавать, что я смог сделать что-то полезное, чтобы помочь человеку спастись от гибели.

Из воспоминаний жены друга, учительницы Н.Д. Митиной

В 1946 - 47 годах Удмуртию парализовал неурожай. За два года не выпало ни капли дождя, ни одной снежинки. Стояли чёрные от засухи поля, передох от

бескормицы почти весь скот. Измученные войной люди голодали после её окончания ещё два года. У мамы руки не отмывались от зелени: она рубила в корыте лебеду, смешивала её с отрубями и пекла нам лепёшки.

В 1947-м я заканчивала 10й класс. Решением райисполкома нам выделили по сто граммов хлеба (в день! – А.И.), но только в дни экзамена. Благо нас (десятиклассников – А.И.) было семеро: остальные после обязательной семилетки работали в колхозе или в городе после ФЗУ.

Была страшная детская смертность. Матери собирали весной колоски, прозимовавшие под снегом, и делали из чёрного зерна затируху для детей. Везде висели медицинские листовки, предупреждавшие об угрозе заболевания септической ангиной, которая, как жаба, душила детей. Но от этих листовок матери только отмахивались: и так, и так умрёт, так перед смертью хоть накормлю.

В такой обстановке об институте не могло быть и речи; надо было работать. А так как в селе я была знаменита грамотностью и хорошей речью, меня направили в удмуртскую деревню Лолошур-Возж учителем русского языка и литературы, что в тридцати трех километрах от дома.

Летом мы с папой (учителем в нашей школе – А.И.) заработали три пуда ржи. На скудном поле в три гектара соседней деревни мы вручную убрали рожь. Ходили туда ежедневно за шесть километров. Папа придумал к косе какое-то приспособление, чтобы стебли ровно ложились на землю, а я вязала снопы и составляла из них суслоны. За адскую эту работу платили по пуду за гектар.

Когда-то во время войны папе досталась из американской посылки (союзники в войну собирали у жителей своих стран вещи разной степени износа и посылали в СССР в качестве «гуманитарной помощи», как называли бы сейчас – А.И.) шуба на кенгуровом меху. Бабушка сшила мне из неё полупальто-мона'рку. За ведро картошки мама выменяла у соседки Аграфены матерчатые зелёные высокие ботинки со шнурками (Груша когда-то ходила в них под венец и берегла как семейную реликвию). Я общипала своих белых кроликов, спряла пух, связала белый берет. Экипировали учительницу!

В субботу, после уроков, я шла домой (зимой на лыжах). Мыла маме полы, мылась в бане, стирала там же свою одежонку и сушила у печки, чтобы к утру высохла, – ни о какой смене тогда и представления не имели, – и в середине следующего дня отправлялась в свои Лолошур-Возж. Так еженедельно – шестьдесят шесть километров (ещё бы сейчас ноги не болели). Но не ходить было невозможно: в котомке я несла молоко (зимой замороженное), в коробочке – яйца, пересыпанные мукой. Хлеб мы с соседкой по комнате пекли сами, чередуясь по неделям. О магазинах в благословенной деревне и не слыхивали.

В 1948 году отменили в городе карточки. (Уточняю: карточная система в СССР была отменена с 16 декабря 1947 года – А.И.) Хоть нас, деревенских, это и не касалось, но жить как-то сразу стало полегче. И я собралась в университет.

Жертвы войны, о которых молчит статистика

Когда говорят о потерях, понесённых нашей страной в период Великой Отечественной войны, то говорят о потерях физических. Недавно сообщили, что на основе всех имеющихся документов, используя прямые и косвенные данные,

подсчитано, что суммарная потеря военнослужащих на фронтах и гражданского населения нашей страны (бомбёжки, расстрелы на временно оккупированных территориях, смерть от голода) составила 26,6 миллиона человек. Страшная цифра! Но жертвами были не только те, кто пострадал от войны физически – убит, ранен, умер от голода. Есть ещё один вид военных потерь, которые никто никогда не считал, и никто не сможет определить даже порядок величины И, тем не мене, он страшен.

Это деформация психики тех, кто перенёс чудовищный голод и другие материальные лишения и остался жив. Эти люди и сейчас живут между нами.

Подумайте и вспомните, как Вы, встречаясь иногда с кем-то из них, моих ровесников, порой искренне недоумеваете. Вам странно, почему человек, порою имеющий достаточно средств на приобретение качественных продуктов питания, скажем, качественного (разных сортов) хлеба, хорошего сливочного масла, колбасы, которая ещё пахнет мясом, сыра нескольких сортов, крупных (на выбор) яиц, чая, кофе старается купить что-нибудь подешевле. Одежду и обувь выбирает попроще, потому что дешевле. Держится из последних за давно уже устаревшие предметы быта – телевизоры, стиральные машины, холодильники. И не из жадности. Когда-то жестокая нужда, постоянное голодание в многодетной семье, не имевшей никаких доходов, кроме невысокой зарплаты матери (а отец на фронте, его там и кормят, и одевают как надо), а потому с трудом наскребавшей деньги даже на то, чтобы выкупить изредка выдаваемые по карточкам продукты, проложила очень глубокую борозду в их сознании: береги последнюю крошку, последнюю копейку, последнюю одежонку! И у тех, кто выживал под немцем на оккупированных территориях, а потом приходил в себя (в том числе и отъедался) в годы послевоенного восстановления – та же борозда. Так вот: у некоторых из тех детей (теперь уже стариков) эта борозда так и не заросла. Это тяжёлый психический синдром. Синдром войны.

Я встречал таких людей. Сам переживший войну, я, как и большинство моих сверстников, уже «отошёл» от этих жёстких военных ограничений и самоограничений и вполне вписался в жизнь по формуле: «по одежке протягивай ножки». Как и большинство моих сверстников, тоже детей войны, приобретал в 50-е – 80-е годы то, что позволяло мне материальное обеспечение. А оно у большинства было порой существенно выше, чем в войну.

Помню, как я прочёл рассказ (точнее, бытовую зарисовку), в которой автор описывал встречу со старым другом в г. Ленинграде в середине пятидесятых. Он рассказал о том, что на столе было много хорошей еды, и по всему видно было, что в отношении питания в этой семье полный порядок: и есть что, и есть на что. Да и обстановка была приличной по тем временам. Но вдруг автор краем глаза (всё его внимание было при этом поглощено тем, что рассказывал гостеприимный хозяин) заметил странную для него картину. Хозяйка, воровато оглянувшись и убедившись, что за нею никто не наблюдает, потихонечку взяла с хлебницы кусочек хлеба и, стараясь быть как можно более незаметной, завернула его в салфетку. Этот свёрточек она потихоньку положила в кармашек блузки, а потом тоже стала внимательно слушать мужа. Потом, когда она зачем-то вышла из комнаты, муж спросил меня:

– Ты заметил?

– Да.

– Ты видишь, у нас всего достаточно. Еды полон стол. Но она пережила блокаду и до сих пор не придёт в себя.

Напомню: это я прочёл лет 60 назад, примерно через десять лет после окончания войны. Но рассказ этот глубоко врезался в мою память. И впечатление от него время от времени усиливалось рассказами тех, кто соприкоснулся с условиями страшного голода. Помню, как один лётчик из нашего коллектива, который в войну защищал блокадный г. Ленинград и бывал там между боями, всегда возмущался в столовой за столом в 60-е - 70-е годы, когда видел, что кто-то оставлял на тарелке недоеденный кусочек хлеба. Он тут же выговаривал:

– В г. Ленинграде такой кусочек спас бы кому-то жизнь.

Сам он всегда доедал до последней крошки всё то, что было принесено официанткой. И мне на всю жизнь, сразу по прочтению, врезались пронзительные стихи Юрия Воронова, ленинградца, блокадника:

Я к ним подойду. Одеялом укрою.

О чём-то скажу, но они не услышат.

Спрошу – не ответят...

А в комнате – трое.

Нас в комнате трое, но двое не дышат.

Я знаю: не встанут.

Я всё понимаю...

Зачем же я хлеб на три части ломаю?

А голодали в войну не только в г. Ленинграде, конечно, не в той степени, но всё равно очень сильно. И одевались в ношенное-переношенное.

Сейчас многие молодые люди почти не едят хлеба – боятся разжиреть (не люблю лицемерное слово «целлюлит!»). У них и кроме хлеба есть чем насытить организм. А тогда, в войну, один кусочек хлеба составлял суточный рацион. Многие из моего поколения (дети войны!) после отмены карточной системы в декабре 1947 года насели на белый хлеб – наскучались по нему, питаясь не очень качественной «черняшкой». Но по инерции и детей вырастили на одном белом хлебе. Хотя это и не очень полезно. Как говорится, маятник качнулся в другую сторону. И когда я вижу, как женщина, близкая мне по возрасту, кормит голубей, раскрошив на моих глазах чуть не полбатона, вздыхаю с огорчением: неужели она забыла, что значил кусок хлеба?

И ещё. Как-то в одной из телепередач о животных рассказали об одном наблюдении. Каких-то (каких не помню, кажется, одну из разновидностей пеликанов) птиц поместили в вольер. Крыша его была низкой. Но птицы должны летать! И они, подрастая, пытались взлететь, постоянно разбивая при этом о крышу крылья в кровь. Со временем (кажется, через несколько месяцев) крышу вольера сделали выше. Но птицы, несмотря на это, подлетали только в пределах прежней высоты. В их подсознании укрепилось понимание того, что каждая попытка подняться выше сопровождается ударом о крышу, то есть болью.

Так и у человека с тонкой ранимой психикой: голод и нужда войны глубоко отложились в подсознании, стали своеобразным табу, которое отделяет возможное от невозможного, доступное от недоступного. И для них на всю жизнь осталось: еду постоянно нужно экономить. Её может быть минимальное

количество. Лишь бы не умереть от её недостатка. Причём самой дешёвой. И ничего на выброс! Одежда (обувь) должна вынашиваться до полного износа: даже если есть где её купить, то не на что! Предметом должно пользоваться до тех пор, пока он полностью не утратил своих потребительских свойств (и не важно, в каком виде и состоянии). Вопрос о качестве этого элемента одежды и его состоянии у таких людей просто не стоит: есть он, значит, хорошо.

За последние годы стало обязательным в случае какого-то катаклизма, в результате которого есть пострадавшие (землетрясения, наводнения, крушения поездов и т.п.), с людьми, наиболее тяжело перенесшими это событие, работают психологи. Их специально для этого готовят. А в 40-е годы такой работы с перенесшими психологическую травму не проводилось. А ведь это было, практически, всё население великой страны. И каждый из них остался наедине со своей бедой – с болью и памятью о пережитом. И пока живой носит её в себе.

Так что давайте будем помнить и об этих жертвах войны. Они остались живыми. Только вот психика их не совсем такая, как наша. И, поверьте, многое из происходящего, в особенности из того, что касается питания и предметов обихода, воспринимается ими не совсем так, как их сверстниками. А потому им, живущим как бы в двух измерениях, намного тяжелее, чем остальным.

Помните об этом, ЛЮДИ!

Берёза

(руби дерево по себе)

Прожив некоторое время в Зырянке, после приезда туда летом 1942 года и сделав нужные (и посильные) дела по хозяйству у бабушки Анны Кузьминичны, я захотел навестить свою вторую бабушку, Антонину Николаевну, которая проживала в Юргамыше за двадцать километров. Возражений не последовало, и в один из летних дней я отправился в гости.

Позволю себе маленькое отступление. Когда я вижу как молодой, здоровый (по крайней мере с виду) человек стоит по двадцать минут и более в ожидании городского транспорта, чтобы проехать одну - две остановки вместо того, чтобы затратить семь-десять минут пешего движения на покрытие этого расстояния, мне становится смешно и грустно. До чего же обленились!

Но вернёмся к моему повествованию. Итак, преодолев по шпалам железной дороги эти двадцать километров за какие-то четыре часа, уступая время от времени колею встречным составам, я пришёл к бабушке Антонине Николаевне.

Как оказалось, пришёл я вовремя. Изба бабушкина, как и все избы в деревнях того времени, отапливалась печкой, для чего, ясное дело, нужны дрова. Дрова нужно было заготавливать самим. Для этого бабушке выделили делянку в лесу. А пильщики кто? Занятая шесть дней в неделю (тогда ведь суббота была рабочим днём) не совсем здоровая тётя? Сестрёнки мои двоюродные (шесть лет и три года)? И вот пришёл мужчина неполных четырнадцати лет, ростом менее одного метра сорока сантиметров и сложения не могучего, и составил рабочую пару пятидесятичетырёхлетней бабушке, тоже не богатырского телосложения. На другой или третий день взяли мы с бабушкой пилу двуручную и топор, пошли на делянку. Провизии с собой, конечно, не взяли: нечего. Только бутылочку воды.

Пришли на делянку, прикидываем, что и как будем делать. Собственно говоря, прикидывала бабушка: что я тогда мог понимать в этом серьёзном и непривычном, по малости жизненного опыта, деле? И вообще я на делянку пришёл впервые. Осмотрели место будущего вдохновенного труда. Внимание наше невольно привлекла берёза, стоявшая, как оказалось, совсем рядом с границей бабушкиной делянки. Хотя и было нам тогда не до красоты пейзажа, но не обратить внимания на эту берёзу просто было нельзя. Она как бы выделялась «породой». Прямая, высотой, наверное, около пятнадцати метров, с чистым белым стволом и развитой кроной. И толщина ствола соответствовала высоте: она была за пределами моей способности обхватить ствол (да и сейчас, пожалуй, я с трудом бы его обхватил). Ну настоящая лесная красавица! Лёгкий ветерок слегка раскачивал этого колосса посреди мелколесья. Бабушку, не лишённую в иных случаях чувства прекрасного, берёза на этот раз заинтересовала чисто с практической точки зрения. Ведь после валки этой берёзы и её разделки мы имели бы почти кубометр из полагающихся трёх. Что ж, идея овладела массами. Правда, одно препятствие для реализации этого замысла всё же было: берёза-то, практически, на чужой делянке. Но здесь вступили в силу сразу несколько соображений. Во-первых, кто смел, тот два съел. И главное, успеть свалить пока никого нет. И поставить свою метку. А там не пойман, не вор. Эти соображения усиливались тем, что остальные деревья на делянке были в основном тонкомеры. А значит, валить стволов нужно много, а после обрубки сучьев в кладь уложить их нужно много, чтобы набрать разрешённые три кубометра.

Оглянувшись, бабушка решается: давай свалим. Авось, никто не заметит, что не своё пилим (уж очень хотелось быстрее доделать работу). А дул ветерок (хорошо, что лёгкий). Я, насколько это удаётся тринадцатилетнему подростку, подрубаю, как положено, давно не точеным топором дерево со стороны, в которую берёза должна упасть после спиливания. Начинаем пилить. Для меня это был первый опыт валки дерева. Срез должен быть низким – высота пенька ограничена. Рубить неудобно (да и непривычно!). А потому трудно. К тому и топор был не очень острый, наточить-то некому! И вот стараемся сделать запил. Пила в неловких руках ёрзает по дереву, запил никак не получается. Наконец, удаётся провести пилой несколько раз по одному и тому же месту. Дело пошло, хоть и не споро. Приноравливаюсь, как пилить в неудобной позе низко нагнувшись. Пила то вырывается, то гнётся, если я её толкаю, не дождавшись, когда бабушка потянет на себя. Каждый раз пугаюсь – не дай Бог сломать! Хорошо, что у бабушки хватает выдержки не кричать на меня за неловкость, а только издавать некие междометия или тихонько ойкать. А ведь я уже упомянул о ветерке. Те, кто, когда либо работал на лесоповале ручной пилой, а не механической! – знают, что это такое при валке леса. После того, как пропилил прошёл первую треть диаметра ствола, стало чувствоваться, как полотно пилы зажимается в пропиле при каждом наклоне дерева в сторону пилы. И вот теперь уже ветер диктует темп работы: отклонение ствола в сторону пилы – и мы чувствуем, как её зажимает, ждём изменения направления ветерка. При этом по мере заглубления полотна пилы в тело берёзы возрастает опасение, что при очередном зажиме стволом полотно просто лопнет. Качок дерева в другую сторону – и мы стараемся, по возможности быстро, снова орудовать пилой. Не знаю, сколько прошло времени (наручные часы у простых людей, да ещё в

деревне, в те времена не водились) пока мы одолели эту лесную красавицу. И вот очередной качок дерева в сторону падения, мы лихорадочно водим пилой взад-вперёд. Наконец, при очередном порыве ветерка дерево начало крениться в сторону запила. Вначале медленно, как бы неохотно, потом всё быстрее, быстрее, и вот оно! Шум ветвей, обрушившихся на землю и глухой звук удара о землю многопудовой колонны. Дело сделано. Бабушка молча смотрит на содеянное. Видно, что её вдруг начала занимать какая-то серьёзная мысль. А пока что мы находим кусочек древесного угля, оставшегося от чьего-то костра, стараемся сделать метку на комле сваленного дерева. Но бабушка, немного помолчав, с беспокойством произносит:

– А как же мы будем ворочать такие брёвна?

Я выпрямляюсь, смотрю на неё, и до меня начинает доходить простая мысль, почему-то не пришедшая нам, старой да малому, перед началом этой трудной уже законченной работы (знать, сознание возможности **иметь** превысило соображения здравого смысла). На самом деле, кто же за нас (для нас?) будет ворочать эти, по несколько десятков килограммов весящие двухметровки (а именно такой длины должны быть брёвна, укладываемые в дровяную кладь). И тогда мы лихорадочно начинаем затирать метки, которые только что с таким усердием пытались нанести на свежий срез. Закончив эту малоинтересную работу и немного передохнув, мы начали валить другие деревья, постепенно заполняя кладь. А у меня на всю жизнь осталась память об этом случае. И когда я однажды услышал выражение: «Дерево нужно рубить по себе», я наглядно представил себе вначале прямой смысл его, и потом лишь смысл аллегорический, потаённый.

Содержание

Об авторе.....	2
Предисловие.....	3
Война в глубоком тылу.....	4
В городе.....	4
В школе.....	8
Продуктовый вопрос и барахолка.....	14
Живительное тепло.....	14
Зауральская деревня в войну.....	17
Общая ситуация.....	17
Мужички – опора Отечества.....	19
Хлеб – имя существительное.....	24
Как делили хлеб в бабушкиной семье.....	27
Хлеб в закрома Родины.....	29
Сельская школа.....	30
Памятный день рождения.....	33
Дети и в войну дети.....	40
Песни памяти и надежды.....	42
Сиротский суп.....	47
Петр Алексеевич Амосов.....	50
Кинопередвижка.....	55
День Красной Армии 23 февраля 1943 года.....	57
Алексей – Божий человек.....	59
Санитарный поезд.....	60
И снова город. Техникум.....	62
Коля.....	71
Из воспоминаний жены друга.....	73
Жертвы войны, о которых молчит статистика.....	74
Береза (руби дерево по себе).....	78

Рукопись редактировала **В. Н. Бабушкина**